

...Цехом банщиков пренебрегали...
(Статья в «Праве лиду», 1929)

Сон – нам самим присущий бог,
свой он искалечил члены,
пока его мы изгоняли.
Его так не хватает бдящим. –
Вам все равно?
Мне – нет, и я его тревожу.

БАНЩИК

Ощущение, что настоящим путевым заметкам необходимо предпослать несколько слов, овладело мною *внезапно*. – Первая фраза, и все уже зашаталось: неуверенность, сдержу ли обещание, пообещав всего лишь несколько слов; и сомнения – может быть, моей мысли лучше бы соответствовало, скажи я, что мною овладело *внезапное* ощущение необходимости, чем то, что оно овладело мною *внезапно*. Сомнения назойливой порядочности! Я обхватываю голову руками; усердно размышляю; о, красоты синтаксиса и морфологии!; размышляю, непроизвольно разглядывая фиолетовые строчки, и на первой же замираю в изумлении, заметив, что она не уходит в бесконечность, но что почти сразу после ее начала я, несколько поглупевший, вынужден перескочить туда, откуда отправился в путь; а потом замираю снова, когда всего только пятая – сколько же я времени читаю? не больше двух минут! оказывается тропинкой, затерявшейся на краю пустыни не исписанного до сих пор листа, и над ним стоит гул кафе (полшестого вечера, время аперитива), будто дрожащее марево; и никакая это не фата моргана; а если я и слышу что-то еще, то лишь тишину, непроницаемую, точно полированный шар; посредством тишины обращается ко мне то единственное, что важно для меня; оно отбросило композицию, как человек, выходящий из лечебного источника, отбрасывает костыль, и морфологию, как ненужную маску, надеваемую лжецами, чтобы скрыть свою растерянность; ибо и в лжецах осталось гнетущее понимание того, что слова лишь пускают пыль в глаза. И вот мое первое существенное открытие: прилагательное «внезапный» использовал бы человек, трусливо подчинившийся неизбежности; я же употребил наречие «внезапно», потому что подсознательно горжусь тем, что являюсь безвольной игрушкой этой неизбежности.

Я пишу «несколько слов», но – будучи игрушкой; возможно, их окажется много. Да, я настаиваю на этом, говорят, коварном деепричастии столь же упорно, как на своем праве отрицать, что существует некое различие между малым и многим, пусть даже только количественное. Скажу даже «прежде всего отнюдь не количественное», ибо от него действительно не зависит почти ничего.

* Вайнер Р. Банщик: Эссе. Новеллы. / Перевод с чешского И.Г.Безруковой и Н.Я.Фальковской. – М.: Аграф, 2003.

Я колебался между примечанием во вступлении и примечанием в сноске. Но на примечание в сноске мне пришлось бы решиться – Бог его знает! – наверное, уже на третьей строке. То есть затеять игру с благосклонностью читателя. Так что я остановился на примечании во вступлении. Ибо в отличие от моих остальных сочинений, главным образом тихих, эта книга добивается тишины. Причем добивается ее шумно. В ней гнев и злоба тех, кто понял, что он находится в клетке, и стремится вырваться на волю. Однако тщетно; о, об этом позаботились: тщетно! С клеткой – как с болотом: чем больше суетишься, тем глубже засасывает. – «Ну так сиди тихо!» – «Да; но как же совесть? И главное: как быть со злостью? Это слишком хороший и верный товарищ, чтобы ущемлять ее в правах до тех пор, пока она не лишится всего». – Речь не о том, как выпустить птичку; речь о том, чтобы убедить даже самого изолгавшегося, что он сидит в одиночной камере. Он и потом будет петь, как пел, но понимать песню он будет иначе. А это уже кое-что.

Если столько людей пренебрегают фактом, что они за решеткой, то это результат оптического обмана: решетку они принимают за рамку. За такую хитро вырезанную рамку для расшифровки тайнописи. Рамку, выкрашенную в цвета солнечного спектра (о, достойное наказания любопытство! Будто не лучше было бы *познавать* спектр с помощью белого луча, отказавшись от идеи пропустить его через призму); складную, как карманный метр; выверенную, как график работы деревенского нотариуса, и упорядоченную, как его семейная жизнь. Для тех, кто еще не понял, наша клетка – это раскрашенная, складная, выверенная и упорядоченная речь народов, «достигших высокого уровня цивилизации», и ее ловкий отпрыск: фонетико-аналитическое правописание. Царская водка и скальпель. Зонд, шарлатански погружаемый в невыразимое и извлекаемый обратно под завиральные заявления о том, что он и в самом деле добрался до невыразимого. Доказательство тому, господа, – сей редкостный дистиллят, что мы позволили себе излить перед вами: наш славный словарь абстракций!.. Как не позавидовать бушменам, не знающим глагола «любить», и китайцам, замкнутым, как их иероглифы. Они не могут договориться, но зато могут лелеять крохотную надежду на то, что позже им удастся понять и людей, и то, что вне их. А если нет, так у них всегда остается возможность не *противиться* неизрекаемому, утонуть в нем, то есть слиться с ним. Мы же тем временем, на берегу океана, мерим и переливаем своей мерой – вопреки предостережениям святого Августина... Одна из редких удач, которых добилась выразительность человеческой речи (в основном эти удачи бывают со знаком минус), вот какова: «Для больших чувств нет слов». Конечно, от рационалистической трусости не дождешься продолжения: «У малых знаний их еще меньше». Не говоря уже о больших (но честно говоря: есть ли разница между знаниями малыми и большими?). Мы выставляем их в витринах «tout habillé»¹, дабы скрыть, что это куклы, чей орган познания – часовой механизм (он тикает, как сердце). Взойдя на Гауришанкар или хотя бы на Арарат (с поэтами такое случается), ты оказываешься выше мира; причем речь твоя всегда остается при тебе. Так испытай же ее! Ты выше мира, и речь твоя подобна зубочистке, с помощью которой надо прорыть туннель в горе. Что ты с ней собираешься делать? – «Да хотя бы то же, что бушмен со своей убогой речью». – «Он бы хранил молчание». – «Вот и вы извольте промолчать». – Как будто в этом дело! Как будто дело не в том,

¹ Полностью одетыми (фр.).

чтобы обрести взаимопонимание с самим собой! Но именно это нам и не позволено. Дьявольское любопытство навязало нам веру в иллюзию диалектического познания, а диалектика, этот злой дух, гоняет нас по кругу, точно собак, лоящих собственный хвост. Для обмана других слов недостает; для убеждения и постижения самого себя – тем более. Рамка для расшифровки? Решетка клетки, где можно лишь ходить из угла в угол.

Я не строю иллюзий. Мы белки в колесе, и мы навсегда останемся белками в колесе. Дальше – одни только безнадежные попытки злобы и гнева, безнадежные именно потому, что продиктованы они злобой и гневом, – вырваться из камеры-одиночки, преодолеть центростремительную силу и вместо круга оказаться на прямой. Мы не даем советов, не проповедуем, не объясняем, не убеждаем. Мы словно зрители в театре, галдящие «тише! тише!», оттого что кто-то чихнул. И если уж предпринимать нечто настолько тщетное, то стоит прежде осмотреться – а не забыли ли мы о чем-то очень важном, что может окончательно нас скомпрометировать? Между нами: приняв такие меры предосторожности, мы тешим себя надеждами – и даже довольно большими, – что на нас обрушится Милость. Вот только нарочно это делать нельзя. – Нарочно? Ах так! Но не выгляжу ли я после этого человеком, для которого важно, чтобы его воспринимали всерьез?

А собственно... собственно, да: если бы дело сводилось только к предисловию (которое почти всегда бывает лицемерной попыткой залатать дыры *ex post*², ханжески выдать эту попытку за директивы и направляющие идеи и тем самым обобрать читателя), то на этом месте я мог бы со спокойной совестью отложить перо и сказать себе, что по крайней мере с одной задачей я справился: написал действительно несколько слов. И сказал ими все необходимое, чтобы застыть в позе выронившего шест канатоходца, то есть в позе единственно достойной.

Но слава, слава бегу затравленного через полуночный лес, когда с каждым новым прыжком страх все творит и творит над самим собой чудо умножения хлебов, уподобляясь русским матрешкам, которые из-за некоей математической погрешности становились бы тем крупнее, чем ближе бы к сердцевине находились. К большому, все большему беспокойству, к тревоге и страху! Пусть мы сдались им без сопротивления – оружие мы сложили не из-за пассивности, но благодаря триумфу воли! – подобно полоненной волной пчеле, которая покоряется течению, уносящему ее (назад, думает пчела), но тем чудеснее возникнет над гладью уснувшего озера снежный замок Эйфории, куда мы не можем не доплыть и где нельзя не заблудиться. Ибо что бы ты ни делал, спасения не избежать.

И как тут устоять перед искушением, что ныне влюбленно придумали мои глаза? Какой вид! Резкий, как в отлаженном бинокле, и пьянящий своей стальной определенностью. «Стальной»; очень подходящее прилагательное. Речь-то действительно идет о стали... О стальной рессоре в форме конуса. Я скользю взглядом вдоль его воображаемой оси, и вершина конуса испускает темные искры, словно маленький черный бриллиант. Завитки, начиная с первого, образующего столь большой круг, что в него легко въехал бы сам Ноев ковчег, втиснуты в границы, принявшие вид гладкой сплошной стены. И я, ведя по ней пальцем от самого основания, разрушаю с неким холодным упоением его

² Исходя из совершившегося (лат.).

твердую уверенность, что каждый раз он описывает замкнутый круг, ибо знаю – может, и не лучше, но как-то убедительнее, чем он, – что кругов не существует вовсе; что палец, которому кажется, что он описывает окружность, на самом деле поднимается все выше; что, начав с поддающейся измерению величины, он продвигается, не догадываясь об этом, вдоль шкалы, где уже нет места ни для какого, пусть даже самого тонкого дифференциала, вдоль шкалы, которая сама не знает, что она шкала, к той высшей точке, которая есть нечто, чего нет... И в концентрических водоворотах я думаю, что для возникновения плоскости и тела и для того, чтобы в воображении они окончились, не прервав своего существования, хватило бы линии, принявшей твердое состояние, и вращения вокруг ее собственной мысли: оси. Я представляю себе птичку-певунью, которая, не ведая того, что известно мне, влетела бы в эти манящие ворота, стремясь к черному бриллианту, призывно сияющему вдали; она плыла бы и плыла, пока ее – при том что крыльям бы еще ничто не мешало – не пронзило бы внезапное понимание, что чем ближе она к цели, тем теснее темница; но, несмотря на это, она продолжала бы путь; нет! именно поэтому, а наверняка не из-за сияния воображаемого бриллианта – она ведь не из тех, кого можно завлечь столь грубым подобием; итак, она то ли влюблена в эту изящную ловушку, то ли засасывается ею; и вот ее крылья уже ударяются о гостеприимную, лъстиво закругленную, вездесущую стену – бесконечную, но при этом как бы постепенно исчезающую, которая пленяет тем неотвратимее, чем заметнее уменьшается, так что в конце концов птица бы уже не влетала, а вползала, будто всасываясь, в это ничто, которое душит, душит, душит и, прежде чем обратить своего гостя в Ничто, Ничто же ему и предлагает, да так очаровательно, что не откажешься.

И от мысли об этой певунье у меня начинается метафизическое головокружение и я пускаюсь в интеллектуальный пляс, словно после удачного решения никчемной проблемы. Да только *я бы знал*, проникнув через широкое устье внутрь этого калорифера, что переваривает, не оставляя пепла. Но страха бы я все-таки не испытывал, а ужас бы свой оседлал, как коня из Апокалипсиса. О, собственные муки, обезличенные, как первосортный анатомический препарат, и взирать, взирать на них с интересом столь стерильным, что боль, вся боль доносится словно бы издалека – как эхо, извне...

Читатель, который, надеюсь, признает, что я без околичностей перешел прямо к делу (ибо я, собственно, толкую уже о деле), встретится на страницах этих путевых заметок с тремя именами собственными: П.С.³, Бельтрам и Квайде. О двух последних – пока ничего. К чему? Никто на свете, кроме меня, не знает ни Бельтрама, ни Квайде. Да и сам я видел их лишь однажды, причем мельком, хотя и неизгладимо. Жаль только, что «Бельтрам» звучит не так поскандинавски, как «Квайде» – это-то имя наверняка носил некий неизвестный герой саг. Но что я тут распинаюсь? Как есть, так и есть, и я ни за что не отвечаю. Отнесешься к сокровенному с хотя бы легкой небрежностью – и наказание тут как тут; я в этом уверен: мои шведские путевые заметки истаяли бы под пером, подобно тому, как это приключилось когда-то по похожим причинам с кое-чем таким, что было для меня еще важнее. А поскольку и оттуда, из фортификационного рва, полного промасленных бумажек, дырявых котелков и невероятного равнодушия выкинутых вещей и людей, я вижу улыбку, блуждающую на губах читателя, для которого я, кажется, написал, что потеря шведской рукопи-

³ Инициалы ныне здравствующего французского писателя (прим. автора).

си была наказанием, спешу добавить, что имею в виду наказание меня самого, а не кого-нибудь другого. Дело личное, обсуждению не подлежащее.

По этой же причине я могу теперь сообщить, что с инициалами П.С. придется трудно, ибо они скрывают имя человека известного. И это для меня тем мучительнее, что я отвечаю за него не более, чем за имена «Бельтрам» и «Квайде». Собственно, сложность состоит не в том, что мне приходится воспользоваться инициалами реального живого человека, но, напротив, в том, что мне придется обойтись с ними так, словно никакого П.С. за ними нет. «П.С.» не имеет ничего общего с писателем, которого нет необходимости представлять сейчас чешскому читателю, ибо – я особо это подчеркиваю – «П.С.» – всего лишь императивно навязанная цепочка звуков, которые только по чистой случайности являются именно теми звуками, из которых состоит *имя* П.С. И цепочка эта или, скорее, куча сложилась как раз во время того морского путешествия в Швецию, которое происходило в таком тумане, что без молочного сияния указателей мы бы никогда не доплыли... нечто наподобие бакенов, вроде Бельтрама с Квайде. Эта аллегория, однако, не отличается точностью. По правде говоря, в моем сознании эти имена совпадают вовсе не с бакенами, а с какими-то совершенно иными предметами. Но почему, собственно, только в моем сознании? Имена эти *точно и на самом деле* являются определенными предметами, которые, однако, поскольку П.С. вызывает у очень многих представление о живом, конкретном, самобытном человеке, я не решаюсь назвать. Но тем не менее это придется сделать, и когда слово это я позже напишу, читатель поймет, почему я прикрывался столькими риторическими приемами, прежде чем его произнес. Поймет он также, зачем я так просил его не забывать, что «П.С.» и П.С. без кавычек не только не сливаются воедино, но и не имеют ничего общего. То же, разумеется, касается отношения между любым словом и вызванным им представлением, то есть и «Бельтрама» с «Квайде», которые, будучи для читателя чистыми созвучиями, удобны тем, что ассоциируются с несчетным числом явлений. Именно потому это слова-сезамы. Слова бессчетных возможностей, ключи паспарту. Если бы мы не были ленивыми рабами ассоциаций, таким сезамом было бы каждое модулированное созвучие, каждое созвучие члененное, каждое «слово». Должно быть, вам это еще в голову не пришло; но факт, что, например, члененное созвучие «П.С.», которому *следовало бы* отпирать все замки, содержать в себе всю неограниченность времени и пространства, в результате нашей ассоциативной лени открывает сектор хотя и бесконечный во времени и пространстве, но только в своих узких пределах, причем наполненный лишь так называемой адекватной реальностью П.С., факт этот, собственно, и есть начало людских бед.

«П.С.», ничего общего не имеющий с П.С., означает, однако, для большинства (а говоря о большинстве, я еще далек от правды, ибо легко мог бы сказать «для всех») человека, ограниченного определенным условным описанием, неким паспортным портретом, некими едва заметными и мгновенно исчезающими отпечатками на том кратком времени и пространстве, что зовется судьбою, этим следом, что оставляет сепарированная частица целого, называемая П.С., на циркулирующей тщетности, следом, называемым одновременно разумом П.С., существованием, и вдобавок творчеством П.С., и еще многим. И откуда только взялись эти парки, в которые бессодержательность пускают лишь на поводке; и почему, если не по привычке, слышим мы созвучие «П.С.» при виде этой, казалось бы, совершенно независимой частицы неизвестного цело-

го?! Я не вполне уверен, что читателю удастся противостоять этой привычке, иными словами – что он сумеет по отношению к «П.С.» вновь добиться такой свободы, какой он пользовался (недооценивая ее) до тех пор, пока «П.С.» было для него ничем, то есть пока оно было всем, так же как «Бельтрам» и «Квайде». Положа руку на сердце, я в это не верю. Однако я убежден, что сказанного мною до сих пор достаточно, чтобы слово, которое я напишу, не возмутило ни читателя, ни – особенно! – того человека, который, согласно общему уговору, скрывается за «П.С.». Вообще-то «Бельтрам», «Квайде» и «П.С.», невзирая на некоторые созвучия, вызывающие ассоциации как личные, так и коллективные (например, «кепки для гольфа», «муранские лилии» и т.д.), играют в этих шведских путевых заметках роль так называемых *чертежных кнопок*.

Наверное, нелишне объяснить это в нескольких словах.⁴ Иначе может показаться, что я над вами подшучивал. Кого не возмутило бы, если бы среди споров о границах, с математической точностью становящихся искрой, из которой возгорается война, внезапно в результате некоей аберрации возник такой, что стал бы, напротив, арочным мостом, где два прежде враждующих государства кинулись бы друг другу в объятия? Кто бы не возмутился, если бы среди беспомощных посредников между бдением и сном, из которых 999 из тысячи срываются с рубежа толщиной в волос в пропасть, нашелся внезапно один, который не только бы спасся, но и достиг триумфа, зацепившись полкой за чертежные кнопки? Милые мои! Да кто из вас сумел бы во время безнадежного прыжка из бездны в бездну остаться беззаботным? Кто, дочитав досюда, сохранил бы надежду, что доберется до чертежных кнопок? Ожидание редко осмеливается выйти за границы, заданные предыдущими аналогиями; причина разочарования как раз и состоит в этой дурной привычке. Мы настолько связаны и настолько горды своею несвободой, что почти уверены, будто наше достоинство оскорблено, когда происходит нечто, чего нельзя было ожидать *по справедливости*. Да, мы настолько смешны, что решаемся говорить: «...*По справедливости* надо было ожидать того-то и того-то». Итак, спокойный, деловой и чинный ход строчек до слов «чертежные кнопки» давал право на любую цель, кроме самих «чертежных кнопок». Чтобы рассеять недоразумение, добавлю также, что «чертежные кнопки», «Бельтрам», «Квайде» и подобное отнюдь не являются неким символическим заблуждением. «Чертежные кнопки» нужно понимать буквально. Под силу ли читателям этакая акробатика воображения? Не обижайтесь, но я здесь скептичен. Речь идет об образности некоей второй степени. Образности не ассоциативной, но, напротив, приводимой в действие столкновением и соединением непримиримо далекими, которые притягивает друг к другу какая-то изощренная привередливость.

«П.С.» и «чертежные кнопки»!

Отважмся на картину! Пока что будем апеллировать к читательской образности первой степени; к той, которая живому не помешает, но и умирающего не спасет. Так ли трудно представить море, разбушевавшееся настолько, что может показаться, будто оно бушует нарочно? В этом море – парусник, но уже без паруса? Хотя нет. Парус оторвался от мачты лишь на четыре пятых своей длины; порыв ветра перекинул его через крестовину реи; он застрял там; этакий

⁴ Раз и навсегда напоминаю – здесь это уместно, – что выражение «несколько слов» – это всего лишь выражение, то есть оно меня ни к чему не обязывает. Впрочем, отсылаю вас к началу (прим. автора).

парус-самозванец; для потерпевших кораблекрушение – источник новой и еще более грозной опасности. Для потерпевших кораблекрушение? Осмотрите все: палубу, мостик, каюты, трюм. Что вы нашли? Человека, одного-единственного человека. Так ли уж трудно вообразить, будто человек этот предназначен для того, чтоб служить нам примером смертного, в чьей голове бродят самые разные мысли, но никак не мысль о том, что ему удастся спастись? Нет ничего проще, правда? Но если я добавлю, что человек этот вовсе не терзается от того, что кончина его близка и неотвратима, я, возможно, наткнулся на какого-нибудь Фому Неверующего. Тем не менее это так, и читатели охотно согласятся со мной, если посмотрят на него повнимательнее. Что они увидят? Они увидят человека на палубе; следовательно, вопреки обстоятельствам, в море он не бросился. Человек, убежденный в неотвратимости неотвратимого конца, не длил бы свое пребывание на палубе. А этот стоит под реей, на верхушке которой вздымается и хлопает самозванный растерявшийся парус, он стоит там, словно пригвожденный, и его руки – какой разительный контраст с бушующей стихией, растерявшимся парусом, гудящим кораблем и чайками, которые словно застыли с распростертыми крыльями, – его руки повисли вдоль тела, а голова поникла. Возможно, объявится всезнайка, который скажет: «Значит, он еще надеется». Ну же, приглядитесь к нему получше. Этот одиночка (подчеркиваю – одиночка) не верит в спасение; но точно так же он не убежден и в неотвратимости близкой кончины. Ибо я уже сказал и даже доказал (доказал тем, кто хотел слушать), что в противном случае он обязательно бросился бы в море. И тогда бы он покорился? Покорился чему? Слова, слова!

Ничто не дается даром! Читатель, который верит мне на слово, имеет право спросить: «С чем же мы его оставляем? В чем он обитает? Иначе говоря: где он?» – и я обязан ответить. О, мне не уйти от этой обязанности. И я отвечу кратко, одним словом: «Он обитает внутри чуда!»

Прошу читателя обратить внимание, что я написал «обитает внутри чуда», хотя было так легко, хотя было так заманчиво не противиться искушению и ради банального взаимопонимания написать; «Он несмотря ни на что *верит* в чудо, *ожидает* чуда, *надеется* на чудо».

Предупреждаю читателя, что настаивать не надо; предупреждаю, ибо подзреваю, что ему действительно понравится, если вместо «обитает внутри чуда» я воспользуюсь каким-нибудь более расхожим выражением. Ну вот, пожалуйста: читатель таки настаивает. Какая уж тут помощь; мне только и остается что ударить кулаком по столу и вскричать: «Глупцы и вруны! Чудо, которого бы он ждал, в которое бы верил, на которое бы надеялся, опиралось бы на надежду. Но у человека с повисшими вдоль тела руками не осталось уже никаких надежд, и именно потому я привожу его вам в пример. Не знаю, найдется ли среди вас хоть один, кто сумел бы не скажу *вознестись* на такую высь, как этот человек, но хотя бы заглянуть туда: Он обитает внутри чуда. Он обитает там, как в заколдованном замке (к сожалению, я вынужден обращаться к избитой сказочной терминологии, ибо, в сравнении с другими, она самая реальная), то есть в замке, который, подобно пробке, изолирует от всего: от времени, от гибели, от жалоб друзей и проклятий врагов, и из окон которого мир кажется вместе знакомым и необычайным, будто смотришь сквозь закопченное стекло: каждый предмет в мягких покровах своих первичных колебаний, колебаний эмбриональных, быть ему, бедняжке, лишь тем, чем ему быть предстоит, и каждый звук с тянущимся за ним шлейфом ставшего уже привычным изумления своей непохожестью. Он

обитает внутри чуда, поскольку знает – это отбивает ему пульсирующая у него в жилах кровь, – что неизведанная земля, простирающаяся перед ним, является иной и прекрасной ипостасью того, что до сих пор, повторяя бездумно за другими, он называл «время, прожитое мною». Он обитает внутри чуда, потому что его ожидает внезапное осознание – настолько живое, что его можно пощупать, и окруженное пределами четкими, как зубчатая стена, – что наступающее ныне и даже наставшее прежде испокон века существовало абсолютно во всем, как море заключено одновременно во всех каплях вместе и в каждой отдельно. Он обитает внутри чуда, потому что кровь пульсирует в его жилах, потому что от этого вскипает его непознанное и уже навсегда непостижимое я (навсегда – глупое слово) – мол, никогда ничего не случилось, а сейчас, даже если и вмешается какое-нибудь созвездие и укажет ему путь из чуда, где он обитает, в некое *куда-то*, где он бывал раньше запросто и которое он знает, толком его не помня, то все равно *ничего не случится*. И это *ничего* употреблено здесь не в фигуральном смысле, это не *ничего* компаративное и релятивистское, прислуживающее всем подряд, но *ничего* тщетное, сравнимое, скажем – скажем! – со слабым бляением ягненка в пустыне, которую набросил на себя, точно свадебную мантию, космос и которую оведают самумы миллиардами своих акустических спиралей. Внутри чуда, где мелькает иногда *естественное*. Или это только кажется?»

Разбушевавшееся море не необозримо – ибо как преодолеть черту? Мы всегда терпим крушение в пределах видимости чего-либо, в этом и заключается притягательность утопания. Есть море, есть швыряемый из стороны в сторону корабль, есть неподвижно парящие чайки, есть гудящая рея и под нею человек с повисшими руками. Есть кудрявое взлохмаченное море, сад, окруженный забором из синеватых гор-конусов. Над каждой вершиной – кольцо облаков, над каждым кольцом – простодушное солнце, словно мишень, так, как в букваре, и как когда-то давным-давно, когда был знак, что кончился Потоп, а в середине каждого из этих колец висят на лучах голубки, несущие в клювиках ветки, но не оливы, а омель. (Почему именно омель? Да откуда мне знать?! А вы почему спрашиваете?) Сколько ковчегов условности на горизонте, и никакого Ноя, никакого Бога, лишь стонущая скорлупка, непокорившаяся рея, это единственное дерево морского сада, дерево, пренебрегающее листьями и плодами, и под ним человек с повисшими руками, со склоненной головой, восклицательный знак глубин посреди ревущей пустоты... вы сумеете это себе представить? Получилось?

Разбушевались вихри; вихри разъяренные; они несутся со всех сторон ужасным галопом; столкнувшись, они выворачиваются из седел, как на турнире, и раздражаются тишиной; раздражаются тишиной. Над кораблем затрепетал лист. Он кружил и вращался, взлетал и падал, лист материальный, но ненадежный. Вы поняли, да? Это послание. Говорящее о спасении? О понимании? Послание ниоткуда и ни о чем, послание равнодушно каменного капризника, без угроз и без обещаний, не приказ, не запрет, оно не заводит в лабиринт, но и не служит путеводной нитью, послание столь же бесполезное, как то чудо, в котором он обитал, а потому его необходимо было прочесть. Единственное, что ему оставалось, это прочесть его. Не то чтобы ключ к ничему, но ключ к ничему из того, что можно познать. И именно поэтому он знал, знал биением своих жил, что если он его не прочтет, то собьется с пути. Не с того, что ведет во тьму, которой нет, но с пути к спасению, то есть назад. Но как завладеть вращающейся загадкой, уносимой вихрем? Вот она скользнула по палубе, вот прильнула к сломан-

ной мачте, но, когда он кинулся за ней, оторвалась от мачты и отпрыгнула прочь, как на резинке. Ведет себя светски, то есть умно и коварно? Вовсе нет! Ибо листок уже снова далеко-далеко, пробирается сквозь кольца над голубыми вершинами гор, облетая их подобно серафиму с картин, населенных ангельскими хорами или сонмами блаженных и мучеников; и тут же возвращается обратно – такой близкий и такой дразнящий, словно он и впрямь способен на издевку.

Листок. Внезапно, однако, он будто раскрыт и разглажен невидимой рукой. Застыл и трепещет, загнанный. Вибрирует, как кастаньета, последними колебаниями, слышными уже лишь себе. Замер над его головой, словно издевательская надпись на кресте; застыл на рее; умерщвлен острыми скобами.

«Умерщвлен» – это не стилистическая мишура; ибо только теперь, распятый, он *признается*, что ему некого было спасать. А если и было, то уж никак не потерпевшего кораблекрушение. Нынче листок действительно стал тем, чем обещал быть, пока был доступен лишь мечте о нем; одновременно вещественным и фантастическим – то свитком, то клочком, то сгустившейся молнией, игравшей цветом и светом и никогда не скрывавшим, что обещает больше, чем сможет дать. Именно из-за этой циничной неспособности к притворству и был этот листок таким желанным.

Как унизителен возврат туда, где ничего не грозит. К счастью, избежать позора – это зависит только от нас, и легко убедить себя, что радостное соловьиное пение – да, оно именно радостное – является таковым из-за смутного предчувствия, что за порогом майской ночи, каждое мгновение которой обманывает вечность, эта пронзительная песня стихнет и рассыплется. Вы еще не забыли о человеке с повисшими руками под гудящей реей? Почему ему, обитающему внутри чуда, необходимо было прочесть послание? Послание – он знал это, и знание его было осязаемым и тяжелым, как сверкающий халцедон, – *которое не содержит ровным счетом ничего?*

Сказать нечего; ибо слова – это отмычки, каждая из которых открывает все, то есть ничего по отдельности; изображать нечего, ибо образ, пробравшийся хотя бы даже только на поверхность, – это уже сам по себе отменный взломщик; бессильны чары могущественных волшебников, когда они пытаются извлечь из вещей признание в их вещности (а после его поймать); ведь уловить его может только тот, кто сумел отречься от себя самого. (Но на что тогда *ему* познание?) Почему ему нужно было познать то, от чего он ничего не ждал?

Взгляните теперь на него перед распятым листком. Взгляните на сам распятый листок. Я один, один на том рубеже, где *есть* и *нет* встречаются. И я вижу еще много дальше: там, где «*есть*», я вижу остров, не заселенный пока ни единой мечтой, это шахта для добычи любых мечтаний, шахта для добычи радуги, которая множит сама себя, проплывая на холодном сне «вовсе нет», подобно мальстрему, со свистом низвергающемуся в пропасть и всасываемому остатком побежденного им бодрствования. Мы спускаемся в сон. На склоне ко сну никто – ни ты, ни ты, ни он – не отрицает противоречия, что уже нет того, что еще есть, и что уже есть то, чего еще нет. На склоне ко сну мы все соглашаемся – ты, ты и он, – что вещи, которые бы только могли быть, реальнее тех, которые кичатся своей реальностью, но даже то, что лишь возможно, не всегда в силах устоять перед белым сиянием абсурдного, что свет и тьма – это не просто величины, но враждебные миры различных сущностей, и все же они чудесным образом взаимозаменяемы: ты закрыл глаза; потом снова открыл. Ты не можешь

быть и тем, и этим; вас двое.

И на этом склоне ко сну никого не изумляет распятый листок, который есть и которого нет. Он переменчивый и несуществующий в природе; но ржавые скобы, выдавшие его тебе, это вовсе не образ, вовсе не аллегория! Нет, белый листок, который он осязает, который слышит и, наверное, видит, но который для него все же прозрачнее воздуха, немее эфира и мнимее, чем поверхность идеальных тел, продырявлен грубыми скобами из мира сего.

Но взгляните на его восторг! Неужели и человек, обитающий уже внутри чуда и ныне осторожно вступающий на наклонную плоскость неведомой земли, наверняка зная всем своим существом, что она явлена ему как удивительная ипостась того, что он называл «время, прожитое мною», неужели и такой человек еще алчет познания (о, вовсе не познания причин, но того, что может быть одновременно одеянием, одеваемым и одевающим) и поет ему хвалу? Абсурд!

Йод и соль, волны, словно жертвенные барашки, остриженные перед жертвоприношением, сломанная мачта, и со стоном гудящая рея; и эти до небес вздымающиеся лазурные горы на горизонте – при этом они так далеки, что кажутся не выше цепи коралловых островов, а над ними – колечка облаков, голубицы и много солнц – какое предчувствие ошеломляющей свободы, чьей хартией был листок посреди урагана, этот то ли свиток, то ли клочок, то ли сгустившаяся молния. Хартией свободы. Вот почему человек с повисшими руками и склоненной головой должен был, хотя бы там ничего и не оказалось, все же прочесть *его*. Он обратил взгляд к распятому, чтобы убедиться, вправду ли можно назвать свободой то, что видно через окна заколдованного замка, где была заключена его зависимость, и прочитал – не читая, увидел – не видя, услышал – не слыша: *Соглашаться и отказываться. – Да и нет едины.*

Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Теперь он не здесь. Но это такое «не здесь», какое себе могла бы (если могла бы) представить линия, говоря о пространстве. Море поглотило и переваривает. Снова беспредельность, но обузданная. Многие солнца собрались в одно, как камешки в стереоскопе. Нет больше застывших парящих голубиц, есть лишь чайки, летающие низко и испуганно. Зачем было думать о блаженных, мучениках и их палачах? Над сомкнувшимся морем – вновь лишь неведомые континенты, а на них люди, обделенные волей. Они хотели знать.

Теперь наблюдать за ним уже невозможно. Он не здесь. «Не здесь», перед которым наше воображение испаряется, подобно воображению линии перед пространством. Можно, пожалуй, сказать – не завидуйте! – что он сошел туда, где все вопросы парализованы, ибо парализована воля к познанию. Способность судить покинула его; мы сказали бы, что он был освобожден; он сошел (или вознесся?, но что это за вопрос!), сошел куда-то, где не только все возможно, но где его ничто не изумляет. Он настолько свободен, что грезит. Он еще свободнее: он, подобно тем завоевателям, что слились с покоренными, покорил свои грезы; подчинился им так же послушно, как живые и бодрствующие, разучившиеся мыслить самостоятельно, подчиняются изученному, которое не более чем категорический императив мысли, императив миража. Вовсе нет! Он еще намного свободнее. Ибо он *не может* иначе, он одновременно соглашается и отказывается. Все, что он видит, слышит, осязает, думает, становится им; буквально им. – Так сдайтесь же, бодрствующие! Не грезам – вы, конечно, хотели бы этого! – не грезам, которые вас избегают, но их немым неласковым объятиям, что обхватили ваш день и толкают его в будущий сон. Кокон, в котором

ночь играет в мертвеца. Но в куколке, помещающейся на ладони, зреет непомерный империализм крыльев. Есть ли доказательство более убедительное, что ваши грезы – это вы сами?

Самая первая «мысль» уходящих – это видение. Видение, потому-то сон – брат смерти. (Так говорит словарь нашей скорби. И наоборот: «свобода снов равна свободе смерти».)

Вот ведь отвратительный лиризм *живого* писателя, заплутавшего на границе, откуда он смотрит в обе стороны и, смотря в обе стороны, увлекается вместо того, чтобы распорядиться. Забыть об утопающем! Думать о чертежных кнопках, то есть помнить о чертежных кнопках! До сих пор *распорядиться* не было моим ремеслом. Уж не помню, кто именно отказался выдать мне диплом надсмотрщика. Но хотя мои мысли и были заняты чертежными кнопками, о Наполеоне я еще не забыл. Даже перед лицом Святой инквизиции я все-таки сумею с кривой улыбкой, открывающей мои редкие зубы – зубы лжеца, и водрузив на голову шутовскую митру (это из спортивного честолюбия, чтобы меня не приняли всерьез), сказать: Рай был; и первородный грех тоже; и из-за первородного греха мы были из рая изгнаны. Рай был; и раем был край «всего возможного», то есть край, где все не только возможно, но даже и не изумляет. Пожалуйста, пока еще не убегайте. Я не исключаю, что позже вы от своего согласия отречетесь. Мне было бы вас жаль; это бы доказало вашу несостоятельность. Не более. Еще по паре коктейлей, и мы пришли бы к согласию. Пара коктейлей – это немного, но я исхожу из некоего минимума в кошельке. Я, понятно, предвижу остроумные шутки, под которые себя великодушно подставил. Но мне, знающему, на что способна пара коктейлей, мало дела до шуток. Способна она на многое; она снимает с ангелов их излишнюю скромность и стыд, а со свиного торговцев – костюм от дорогого портного, в котором они притворяются джентльменами.

В любом случае я надеюсь, что желающие оценят по заслугам тот факт, что я потратил на демонстрацию своей мысли не очень много их драгоценного времени. Аподиктическая резкость – которая некоторым, возможно, покажется наглостью, ибо уж слишком резво перескочил я от утверждения к выводу, минувшее доказательство, – кажется мне скорее симпатичной. Время дорого, и элементарная вежливость требует признать, что Ветхий завет знают все.

- Итак, человек был изгнан из рая потому, что съел плод с дерева Познания. Кстати: каждый из нас отлично осведомлен о том, что он получил, когда не послушался райского лесничего: то самое пресловутое похищенное познание, которым мы до сих пор иногда хвастаемся, это не Познание, но некий выбракованный товар, предназначенный цивилизованными на экспорт нецивилизованным (называют его по-всякому, но чаще – цивилизацией), а именно – способность судить. (Если среди читателей есть те, кто со мной не согласен, пусть не утомляют себя поднятием руки. Скоро вы увидите, что это излишне.)

Способность судить: это означает примитивную алгебраическую операцию, обесцененную к тому же еще и тем, что нищая, но честная цифра заменяется не менее неимущей, но надутой буквой. А плюс В равно С пыжится так, словно гораздо лучше, чем два и два, которые равны четырем. Однако Бог, похоже, обидчив. Этой убогой Адамовой кражи ему хватило, чтобы запретить рай нам всем. Не исключая даже тех, кто дует в трубы мощнее иерихонских (правда, теперь их, к сожалению, делают из железобетона); короче говоря, Адам был всего лишь старейшиной-паралитиком, позволившим себя одурачить. – Изгна-

ны из рая с нищенской сумой, где вместо корки хлеба – способность судить. Вот он – ценный плод с древа Познания. Мы изгнаны из рая за то, что осмелились взирать на свет сквозь алгебраическое уравнение, то есть примерно так, как если бы мы воспользовались моноклем из эбенового дерева, а другой глаз зажмурили, как это случается со всяким, кому не достало монокля: это только вопрос экипировки. Мы изгнаны из рая потому, что разделили «что на ум пошло» на «что на ум не пошло», а потому якобы вовсе не существует.

Попробуйте только разъединить зубчатые колеса возможного и невозможного, попробуйте, если, конечно, не лишитесь при этом руки! Так чем же был рай, откуда нас изгнали за то, что мы съели плод с древа Познания (qu'il dit⁵)? Чем иным, если не краем, где суждение бесполезно? Где бесполезны суждения? Где все за пределами суждения, то есть подлинно и фатально возможно. Изгнаны из рая. То есть изгнаны оттуда, где лишь одно бы изумляло, если бы этому можно было изумляться: само изумление.

Мой Боже! – опять это слово! – так кто же и когда тебя выслушает? Еще мгновение назад мне казалось, что я готов приютить тебя. Я считал, что мне хватит сил утешить тебя в твоём горе отверженности. Но есть некто, кто сильнее нас обоих. Кто это? Как его отыскать? Было столько места, столько места, Боже мой! Кто, кто перегородил его словами и вопросами, причем именно тогда, когда ты уже готовился войти? Словами и вопросами, как стеной. Вот так-то. А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? И знаешь ли, точно ли знаешь, что он не окажется внутри тебя кукушкой в чужом гнезде?

Раньше было столько места! Между безмолвием, простирающимся от начала к концу (это просто выражение такое, потому что никакого конца не существовало), и моим однообразным всеведением, пренебрегающим красками и формами, мыслями и пустотой после них, согласием и отрицанием, вопросу нигде было укрыться. Разве что иногда время сгущалось в пространство, подозрение, что я есть, уверенность, что я меньше того, чем буду, когда исчезну, непознаваемая моя скорбь – в некое обещание веселья еще более мрачного, и это было все, и этого хватало. Не ты был причиной этого, Боже мой, ибо ты разорен и ждешь, что я вступлюсь за тебя. Кто же из твоих союзников сделал так, что часы казались мне короче секунд, что я стремился к горечи так же жадно, как пчелы к сладкой пыльце, что большие, огромные звезды слетались в мои ладони – такие маленькие и такие умоляющие, – и места для них там было достаточно, что мне не хотелось освободиться от моих вялых и сковывающих чар, в которых, однако, твои пустые и бесцельные мысли занимали места не больше, чем ничтожная пылинка. Кто сделал это? Не ты, ибо ты просишь о милости, – но точно ли это был тот, кто внезапно перевернул все во мне, не оставив для тебя даже крохотного местечка? Мой Боже, кто и когда выслушает тебя? Еще минуту назад мне казалось, что я буду надежным приютом для тебя, а теперь, теперь, из-за того, что кто-то во мне спросил: А ты знаешь, чего он хочет, куда тебя ведет, что велит, что затевает? – из меня был изгнан я сам, и я не знаю, где поклонить голову. Кто это был? Я же не сделал ничего плохого.

Не знаю, зачтется ли мне это, но я все же подчеркну здесь особо, что для того или иного события совершенно безразлично, ведает ли наш разум, как с ним быть; или, как сейчас принято выражаться (не можем мы без того, чтобы не

⁵ Что он говорит (фр.).

произнести последнее слово, и нас не волнует, что это последнее слово наверняка уйдет в никуда), согласится или нет наш интеллект вобрать его. Инстинкт «познания» – один из атрибутов человеческого несовершенства. Дар непосредственного отождествления себя со всем «что существует и происходит», привилегия бесконечного слияния не только лишь субъекта с объектом, но также и взаимного слияния объектов (я осознаю, насколько грубыми инструментами для выражения этих отношений являются слова объект и субъект и вообще все слова; они – мародеры мысли; а само слово «мысль» есть самое грубое из всех) предоставлена не согрешившим, определение которых непосредственно следует из определения согрешивших, смотри выше. Вероятно, число категорий этих не согрешивших безгранично. Кто виноват, что нам было позволено распознать лишь три из них: царство минералов, растений и так называемых бессловесных тварей? Границы между данными категориями проложены так, что ничего глупее не придумаешь; но я уже говорил: мы – пленники словаря; словаря общепринятых концепций, мы осознаем его невероятную отрывочность и приблизительность, но в нищете своей солидарны, в нищете своей равны: не имея иного средства, чтобы договориться, мы договариваемся, пользуясь им... и расходимся все дальше и дальше. Трагедия человеческая в том и состоит, что эта чудовищно возрастающая отчужденность является единственной мерой, которой мы можем измерить стремление друг к другу. Есть много категорий не согрешивших, не имеющих даже представления о существовании непроницаемой стены между я и не я, – и взгляните, сколь извращен человек, который полагает эту стену чем-то естественным; ибо лишь в этом случае было бы Познание, то есть слом этой стены, *благом*, человек же выдает мнимое свое Познание за действительное благо, – но мы из безграничного числа этих категорий знаем лишь три. Если же нужно дать определение *r ch  mignon*⁶ человека, то из всего до сих пор написанного следует, что в иерархии с учетом Познания человек стоит ниже всех: именно потому, что он судит, или, вернее, потому что не может не судить. Взглянув на суть дела под таким углом, мы поймем, что высказывания вроде: теория верна, ложна, гипотеза правдоподобна, менее правдоподобна или неправдоподобна, совершенно бессмысленны. Среди внушающих доверие лжепознаний (вербальное умение внушать доверие вообще характерно для лжепознания; и нет сомнения, что древо, плод которого съел Адам, было деревом лжепознания, ибо кто и как смог бы изгнать его из рая, съешь он плод с истинного древа Познания?) нет ни одного, которое хотя бы приподняло железный занавес. Так имеет ли значение их относительная правдоподобность – на каждом шагу спотыкаешься о громоздкие валуны языка! – я о том, что их готовы воспринять умы, конформистские настолько, что они спасут тонущего в беспредельном ничуть не успешнее, чем нижняя волна помогла бы тонущему в море.

Остается лишь одна мера для оценки успехов того, кому удастся уловить, конечно, не реальность вещей (ибо, постигнув реальность явлений, мы бы их уже воспринимали не как явления, то есть как нечто вне себя, но как себя самих), но простую проекцию их значения, и мера эта – удобство: *наиболее адекватное «познание» то, что меня больше устраивает*; иначе говоря, чья амплитуда ближе всего к амплитуде моего духовного голода. Я не говорю, что оно дает наибольшую уверенность и удовольствие, ибо ощущения «уверенности» и «удовольствия» никак не сочетаются с «познанием». Познание может быть са-

⁶ Излюбленный грех (фр.).

моубийственным, то есть сопряженным с глубокой неуверенностью и совершенным отчаянием. И если я пишу, что изгнание из рая означало, что край, где все не только возможно, но и не изумляет, оказался запертым на замок; если говорю, что мы вкусили с древа Познания... вернее сказать, лжепознания... а следовательно были прокляты и обречены на неотвратимый суд, на различие тех вещей, которые на ум пошли, и тех, которые на ум не пошли; если добавляю, что рай был и первородный грех тоже был, то у меня нет ни малейшего желания строить из себя прозелита. Я придерживаюсь мнения, что лучший способ опустошить себя – это поддаться желанию убеждать. Пишу я это потому, что такое объяснение человеческой несвободы (не социальной, конечно, не в ней дело, но метафизической, которая в конечном счете все и определяет) меня *больше устраивает*.

Вы думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые скажут: Рай был не состоянием тотального познания или, как вы неуклюже выразились, краем *всего возможного* и ничего изумляющего, но состоянием невинности?! Думаете, я не ожидал, что найдутся богословы, которые обрушатся на меня: Разве можно толковать Древо познания как древо познания рационалистического?! Что я позабыл о тех, кто осмеет меня: Как это, суд – алгебраическое уравнение?!, кто набросится: Инстинкт познания – это инстинкт принадлежности Богу, то есть абсолютная уверенность в том, что мы ближе к Нему, чем те, у кого такого инстинкта нет?!, кто прогремит (прогремит!): Что это за растерянность Иуды, с какой вы отождествляете операции, соответствующие логическому канону, а именно дедукцию и индукцию, с познанием, то есть овладением как таковым?!

Я уже сказал, а если не сказал прежде, то говорю теперь, что (и по какой причине) ответить им значило бы проявить ненужное великодушие. (Там сзади кто-то поднимает руку – я, мол, якобы не объяснил *причину*. Но разве я не говорил о тщетности слов?! Не говорил о невозможности взаимопонимания?! О том, что слова не важны, что дело вовсе не в них, а в тех людях, кто ими пользуется; так же все обстоит и с психологией [смотри «Братьев Карамазовых»], с помощью которой можно доказать что угодно, ибо там тоже важно лишь то, кто к ней прибегает?!) Тем не менее: лишь из злого упрямства – если не из-за ограниченности – можно отказаться признать, что и мой рай, и даже прежде всего мой рай, тоже являет собой состояние невинности, хотя это и не было высказано напрямую! Как я, впрочем, уже *показал*, райское древо Познания *навверняка* было деревом лжепознания, но если бы кто-нибудь сказал, что это противоречие – говорить о рае и одновременно позволять расти там древу лжепознания, то я бы ответил, что такое же противоречие – описывать первого человека как человека, рая достойного, и этого же человека изгонять оттуда, но оба противоречия лишь кажущиеся, поскольку человек в раю является человеком совершенно свободным; если же он лишился рая, то это означает попросту, что он его никогда не имел; следовательно, он проклят с самого своего начала; то есть он сам есть *проклятие*.

Я отворачиваюсь от тех, кто, подобно хитрым и злорадным школьникам, подлавливают меня на растерянности, на алогизмах, на пробелах. (Я тоже раб цепного, то есть последовательного, мудрствования и его побочного отпрыска, речи. Пусть себе собирают потерянные звенья мыслей, мне нет дела до гуронских воплей, с какими кидаются они на неточность моего словаря! Бог с ними, говорю я, зная, что Его с ними не будет.)

Я поворачиваюсь лицом к тем, кто, как и я, тысячу раз за день протягивает руку в уверенности, что поймал рыбку-тень, а разглядев ее, осознает вновь и вновь, что это был всего лишь мерзкий головастик, и свет проходит сквозь него, не давая тени. Лицом к тем, кто, будучи таким же нищим, как все остальные, кажется оборваннее других из-за поразительного контраста: в его нищенском одеянии застрял осколок бриллианта бывшего величия. Они поймут, что самое адекватное познание то, что больше всего нам подходит.

(Прочтите выше, что именно я здесь имею в виду. Я же только добавлю, что пишу все это с дальним умыслом обогатить свою поэтику, а также с целью гораздо более близкой, заключающейся в том, чтобы облагородить глагол «нравиться», с которым до сих пор так плохо обращались, что он предпочел отказаться от приличествующих ему прерогатив и выпросил себе место поваренка. Я намеренно использую этот глагол повсюду, где только можно ожидать, что швейцары, то есть стражи чешского языка, захлопнут перед его носом ворота. Я был бы счастлив и вознагражден сполна, если бы мне удалось устроить для этих убийц-рутинеров подобное представление и со множеством других слов. Ведь на страже языка стоят или толстокожие ретрограды, торгующие ископаемой (то есть традиционной) речью, или маляры, обходящие со своими трафаретами дом за домом. Между Сциллой традиции и Харибдой просторечия свободным людям, не желающим погрязнуть в стилистическом хамстве, остается лишь намеренно прибегать к солецизмам.)

Поскольку наиболее адекватным является познание, чья амплитуда более всего устраивает амплитуду моего духовного голода, нет необходимости долго обосновывать, почему познание не тождественно уверенности. Есть такие, кому нужна опора столь же прочная, как ствол старого хлебного дерева; а есть иные, те, кто решается ступить на мост, сплетенный из паутины. Один не отважится преодолеть стену до тех пор, пока на ней не нарисуют фальшивые ворота; а другой прыгнет через нее лишь после того, как она ошестинится калеными мечами. Твоя ностальгия по Богу удовлетворяется тиканьем часов, а я почувствую себя приближенным к Нему лишь когда распластаюсь под рухнувшей на меня скалой. Так разве можно сомневаться в нашей слепоте, если даже двое из нас видят по-разному?!

Отношения писателя и читателя основаны, как правило, на том, что второй считает первого лицемером, если не лжецом, а первый, в свою очередь, держит второго за Фому неверующего. Отсюда их взаимное фатальное непонимание. Отсюда и нечто худшее: читатель, стремясь обмануть свое неверие, становится тугоухим; и тогда уж писатель может врать всюду, ибо знает, что бесстыднейшую ложь легче всего подsunуть под видом правды. Я не поддаюсь иллюзиям; не внушаю себе, что читатель отнесется ко мне иначе, чем к другим. Я лгу и кривляюсь не меньше прочих... вот что думает он обо мне. Но читатель не должен забывать, что мне нет дела до его мыслей. И не потому, что я как-то особенно пренебрегаю читателем, но потому, что самое важное – это нагота вещей, а мысль (то есть суждение, то есть то, что кто-то о чем-то думает) – это есть само равнодушие. И если я говорю, что в этих абзацах каждое слово искренне, то не для того, чтобы добиться расположения, и не потому, что это правда. Говорю я это искренне, хотя меня самого подобная искренность раздражает и смешит. Но чего стоят эти лучшие устремления, направленные на собственную дискредитацию, в сравнении с весом осязаемых доказательств (могу я так выразиться?). Если я кое-что и отретушировал, то лишь затем, чтобы

причесать фразы. Ни для чего другого. И лучшее тому доказательство – легкость, с какой читатель сможет вцепиться мне в волосы, если захочет потратить хоть немного сил на противоборство – страшно сказать! – мыслей... но все же я непринужденно произношу это слово, хотя оно тоже употребляется людьми и, следовательно, от него ничего не зависит. Спешу добавить, что эта абсолютная искренность вовсе не связана с избытком добродетели. (Впрочем, это я уже отмечал.) Просто я стремлюсь к тому, чтобы толкование моей поэтики было этой самой поэтике пропорционально. Вот только я сомневаюсь – а успел ли мой читатель догадаться, что все вышеизложенное представляет собой лишь постепенное сосредоточение войск перед штурмом ключевой крепости, того единственно верного ключа к жизни, каковым является поэтика? Если до сих пор не успел, то я ему это сообщаю. Однако что рассказать читателю о крепости, которую я завоевываю для него, а вовсе не для себя, ибо я являюсь *ею*, но не нахожусь *в ней*? Лишь то, что основа этой поэтики, да собственно и она сама, – это «согласие и отрицание» (смотри выше), а потому и я стремлюсь соглашаться или отрицать, то есть полагаться только на те знания, которые меня больше устраивают, или же быть болезненно искренним. Вот одна причина моей абсолютной искренности; другая же – это мысль о том, как я повеселюсь, если у решивших, что ухватили меня за волосы, в руках останется лишь парик.

Вооружившись подобным образом, я с легкостью пишу следующее: если человек лишился рая, то он в нем никогда не был. Если он в нем никогда не был, то изначально проклят. Если он изначально проклят, то сам он и есть проклятие. Все это истинно, пока я нахожусь на четных ступенях; если же я перейду или переползу на нечетные, то оно станет гораздо менее истинным. Предупреждаю: я осознаю, какая это философская и даже метафизическая ересь – написать, будто это истинно, а то истинно гораздо менее.

Общество на такие взгляды (да-да, вопреки всему: взгляды!) обижается. Пламенно защищает истину и – сгорает дотла. Какой там скептицизм, какой релятивизм! Общество зубами держится за абсолютную истину. Оно уже со школы знает, что «два и два – четыре» и что «два и два – четыре» – это истина. (Если бы я вздумал поучить его уму-разуму, то сказал бы, что речь здесь идет вовсе не об истине, но лишь об истинной мысли, однако мои розги куда-то запропастились.) Еще общество уверено, что «два и два – пять» – это не чуть меньшая истина, а просто вообще не истина. Что ж, ладно! А я ему отвечу, что вот уже тридцать две страницы кряду стою на одной ноге на катящемся шаре и пытаюсь сохранить равновесие; шар же этот вдобавок парит в безвоздушном пространстве (с таким же успехом я мог бы сказать – в сверхчеловеческих сферах, но, пожалуй, не буду, ведь всем нам доводилось сталкиваться с людьми, которые, едва услышав слово сверхчеловеческий, сразу принимаются упрекать нас в самонадеянности, словно не догадываясь, что, во-первых, сверхчеловеческий – это синоним внечеловеческого, то есть нечеловеческого, а во-вторых, что человеческое честолюбие просто физически не может тешить себя вне человеческого), так вот, этот шар парит в безвоздушном пространстве, то есть в сверхчеловеческом, что у меня уже болят ноги и что я мечтаю ступить на твердую почву и отдохнуть. Впрочем, я пишу *всего лишь* поэтику. Если я говорю, что на четных ступеньках абсолютное проклятие человека – это истина, а на нечетных – истина чуть меньшая, то в первом случае я совершенно определенно имею в виду весь человеческий род, а во втором – его разновидности.

Род – это проклятие, спросите у сыча или ласточки, актинии или приму-

лы, кремния или гранита... но вот с разновидностями дело обстоит иначе! Точно ли произвол с моей стороны полагать, будто среди человеческих разновидностей есть более и есть менее проклятые? Я позволяю себе, и позволяю очень вежливо, указать на то, что уже выше, не предполагая, в какое узкое место я попаду, – то есть вовсе не *pour le besoin de la cause*⁷ – я, говоря о несогрешивших, разделил их на три видимые категории (без учета невидимых), а именно: минералы, растения и так называемые бессловесные твари. Несогрешившие, утверждал я, это те, на кого снизошла Милость. Возьмитесь-ка покрепче за последнее слово, ибо это качели, на которых, если Бог даст, мы поднимемся высоко-высоко. Милость! Каждый знает, что она не пропорциональна добродетели; каждый знает, что хоть в ней и отказано тем, кто к добродетели не стремится, это совсем не удел всех, кто к добродетели стремится, пускай даже они и упорны в своем стремлении. Мы не знаем, чем руководствуется Милость, делая выбор. Склоните голову, вы, и ты, и ты – вы все, живущие! Вот ты, бледный, в лохмотьях, с глазами эпилептика, ты, пепельно-серый, чьи пальцы впились в грудь, где бьется сердце, ты, ползущий к своему последнему приюту, вечному приюту, ползущий отвратительно, как пяденица: ты кровоточил сотней ран, бредил о слепящем свете, исходящем от Бога, вглядывался в Него с тех самых пор, как в тебе проснулся разум, не зная иного наслаждения и иных радостей – о! – смотри же! А ты, пригожий, что не чуждался чувств, красок, запахов, ласк, ты, который, даже думая о Нем, не стыдился наряжать и украшать себя, – ты, краса земли, в ожидании истины открытая радостям и радостному, ты, пригожий, чей взгляд сияет, словно созвездие бойких огоньков, ты, верный, но не забывающий и себя, вступаешь на небеса прямой, как свеча, с запрокинутой в восхищении головой, с развевающимися волосами, и, хотя ты уже ослеплен тьмой, ты все еще улыбаешься встречным влюбленным птицам, и с твоих полуоткрытых губ слетают слова то ли гимна, то ли псалма! Милость на бессловесных тварях, милость на растениях, милость на минералах, милость на несогрешивших.

Но кто же не знает – благодаря яркому молниеносному озарению, иногда посещающему нас, причем не в виде воспоминания о потерянном рае, отнюдь нет... это озарение скорее сравнимо с удочкой, которую в тщетной надежде закидывает наше отчаяние, – так кто не знает, что сон-жизнь собаки, несмотря ни на что, не является столь же блестяще-безоговорочной капитуляцией, как сон-жизнь скалы?! Милость распределена по степеням, да. В космическом параллелизме распределено по степеням и Проклятие. – Вы ухватили меня за волосы? Парик! Если я пишу: род человека – проклятие, но есть менее и более проклятые разновидности, то это значит, что я решился спуститься на землю, к вам, обезьяны, братья мои; но коли вы думаете, что я готов присоединиться к вашей верноподданической пляске святого Витта, то заблуждаетесь, заблуждаетесь! Я падаю, потому что изнемог. Но падаю прямо, как дерево, и раскалываюсь на две отчаявшиеся половины. Которые отыщут друг друга. Ибо если Милость – вне шкалы добродетели, то Проклятие (согласно законам космического параллелизма) – вне шкалы грехов. Я проклят не потому, что согрешил без меры, но проклят просто потому, что проклят. Я пал, и меня переехала колесница смерти.

А не предоставите ли вы мне минуту передышки? Совсем коротенькую! Трехмерное мышление утомляет меня. Я не пытаюсь казаться лучше, чем я есть; и если я говорю, что влеку свою относительную вечность в краю, где даже для

⁷ Ради случая (фр.).

самого медленного средства передвижения 120 км в час – это мало (а еще, точности ради, замечу, что ездят они по направлениям, которых в кубе нет), то не думайте, пожалуйста, что я вознесся выше других. Нет для меня мысли более недоступной, чем научиться летать и уж тем более возноситься. Обезьяны, братья мои, какими бы ни были средства передвижения, скорость или направление, вы, согрешившие, вы, проклятые, я – один из вас, я ползаю, ползаю отвратительно, как пяденица.

Так не предоставите ли вы мне минуту передышки? Ведь я заметил нечто, чего, возможно, вы – совершенно случайно – не заметили! Это был ангел. Ангел! Тем не менее элементарная честность вынуждает меня признаться, что я в этом не уверен. Возможно, данное создание с плоским лицом и обвислыми, как у суслика, щеками только выдавало себя за ангела. Подумать только! Это плоское лицо, эти слезящиеся глаза, этот его горб – такой жирный, такой заметный, – он говорил, что внутри горба скрываются его крылья. Его якобы радужные крылья, расправив которые, он взлетает. Ангел с плоским лицом, сусличьими щеками и вдобавок горбатый. Да возможно ли такое? Или это всего лишь подобие правды? Услышь меня, Иисус Христос, услышь меня, прежде чем умереть! Я шепчу тебе на ухо – я откровенен с тобой, – и чтобы никто другой не подслушал меня. Ты и я – нет! нет! мы с тобой не ровня и настолько далеки друг от друга, что не можем взаимно не притягиваться... так вот, этот уродливый калека, выдававший себя за ангела, этот лицемер, этот обманщик; послушай же, шепчу я тебе на ухо, тебе единственному: я увидел его ночью, когда все уже спали. Звезды слетались к нему на ладони, хоть он и не призывал их, и он забавлялся, играя ими, как камешками.

Нездешняя краса безобразного уroda сотрясала Геркулесовы столбы так, что ты вынужден был сказать: «Он взял на себя *все*, и, хотя он до смерти опечален, ему легко». Ты «вынужден был сказать: «Ангел!»

Шоссе. Оно, конечно, ведет откуда-то куда-то. Но мы на чужбине, может, на Луне, может, в Латвии, может, в родном краю, но все равно на чужбине, куда перенесла нас черная-пречерная ночь, которая ныне, на рассвете, скорее вспоминается, чем существует на самом деле. Мне кажется, что всякий человек достоин спасения, а потому не способен перекрыть дорогу к нему собственным телом, не способен распродать за бесценок оставшиеся у него капли чуда, не способен – и это поймет каждый, ибо демократический жаргон является единственно подходящим для нас способом изъясняться – не способен поступиться своей свободой. (Понятно, что речь идет не о свободе печати или свободе собраний, но слово свобода мы употребляем здесь для простоты, невзирая на то, что в обыденной жизни это всего лишь грубая сума для сбора всеобщей подлости и трусости.) Я уверен, что каждый из вас настолько достоин спасения, что не способен считать страну, в которую он попал *таким образом*, которая была ему явлена *таким образом* и *таким образом* вспоминается, чем-то иным, кроме как страной совершенно чужой и совершенно чудесной, и потому, если он увидит в ней шоссе, ему не захочется спрашивать, откуда оно ведет и куда.

Итак, шоссе. Вдали возвышенность. А на ней – вы. (В *некое* утро; в лучах *некоего* жаркого и лукавого солнца; вспоминая *нечто*.) Тут на горизонте пока-

залось облако пыли. Оно приближается, густеет и растет. Вот оно пронесется мимо вас – такое немое (ибо вы от него далеко) и такое беременное... точно туманность, которая, взрываясь, рождает звезды. И вот оно уже скрылось, его больше нет, осталось только воспоминание, но воспоминание об облаке куда навязчивее самого облака.

Однако там, где оно появилось, теперь возникло другое облако. Чуть-чуть меньшее. Чуть-чуть менее ужасное, но зато более быстрое. Оно приближается, густеет и растет. Пронесется мимо вас. Немое (ибо вы от него далеко). Только первое облако умело держать язык за зубами, а это нет. Вот оно! То ли пыльная туча, то ли двадцатисильный гоночный автомобиль... Вот он уже далеко. Исчез.

Ладно! Тайна первого облака никак нас не отпускает. То есть она *не отпускала бы вас*, если бы вы были несогрешившими, например, кучкой щебня. Будь вы кучкой щебня, непреложной тайной оказалось бы для вас абсолютно все; непреложной и в то же время, если так можно выразиться, тайной естественной, то есть такой, чей первый и последний смысл – быть тайной, а не как для нас, считающих тайну тем, чем шелкунчик считает орех: то есть тем, чей первый и последний смысл – быть раскушенным. А теперь предположим, что вы не несогрешившая кучка щебня, а проклятие, но проклятие немного меньшее (смотри выше), чем то, каковым являетесь вы, будучи цивилизованными белыми европейцами (американцами или китайцами). Что вы, допустим, бушмены. Вы спрашивали бы «что это?», спрашивали так, как спрашиваете и сейчас, но спрашивали бы смиренно, без малейшей тени надежды на ответ. Этот вопрос лишь пополнил бы вашу сокровищницу, где хранятся прежние вопросы, как и этот, не дождавшиеся ответа, такие же брошенные, такие же отступившие, вопросы, чей смысл быть вопросами и ничем иным, вопросами-ступеньками, по которым поднимаются туда, где вопрос и ответ – два тщетных слова, обозначающих единственную существенную вещь, то есть жизнь-сон несогрешивших.

Однако вы белые европейцы. Вас тайна отпустила. Вы знаете, как оперировать аналогиями. Уже века и тысячелетия назад вы попали в силки к ростовщичу, предложившему вам эту обвальную сделку под видом замечательной империалистической «аферы». Второе облако было вовсе не облаком, но пылью, поднятой двадцатисильным гоночным автомобилем; следовательно, по аналогии, не облаком было и первое, несколько большее облако, которое было пылью, поднятой гоночным автомобилем с чуть более мощным двигателем.

Нет, вы ошибаетесь. Позвольте, я вам объясню. Первое облако было табуном апокалиптических коней. И если отыщется кто-нибудь, кто решится сказать, что я лгу, то пусть он выйдет вперед.

Ужасно, конечно, что я вынужден, точно школярам, растолковывать вам столь элементарные вещи, хотя подошло уже время переодеться к адскому пиру, на который любезно пригласили нас и других ангелов и который вот-вот начнется.

Но раз мы остановились на автомобилях и конях апокалипсиса, раз нашли такое плодотворное сопоставление, так давайте разберемся с ним до конца. Оно и в самом деле изумительно и уже сослужило нам службу – и еще какую! – когда явилось доказательством того, насколько бессмысленно судить, полагаясь на аналогии. Попробуем подойти к этому же, но другими путями.

Мы видели два облака. Одно было «собственно» автомобилем. «Значит, – говорим мы, – второе – тоже автомобиль». Человеческая речь просто кишит та-

кими абсурдными утверждениями: одинаковые причины, одинаковые следствия (ну и, наоборот, конечно!) – Случилось после, значит, вследствие. – Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. – (Бедняга!) – С кем поведешься, от того и наберешься. – Каково начало, таков и конец. – Мудрость народов – пословицы о слов.

Белый ходит прямо, негр тоже; следовательно... – Если вырвать у белого сердце, а потом приблизить горящую свечу к его ступне, он не вззоет, не дернется; негр тоже, следовательно... – Белый умеет говорить, негр тоже... Ряд таких «следовательно», и вывод ослепительно ясен: Оба по сути одинаковы.

Впрочем – тоже на основании аналогии, хотя и иного рода, – мы вместе с господином Гарви, а он негр, но американский, склонны утверждать, что негры, хотя они и были совершенно ассимилированы западной цивилизацией, «в своем развитии находятся несколько позади», то есть, как говорит Гарви, «они словно европейцы 14 века».

Однако прежде чем мы двинемся дальше – моей поэтики на всех хватит, уверяю вас, хватит! – прежде чем представим изумленному читателю неопровержимые доказательства всего того, что утверждаем мы, начитанные, мы, документированные, но при этом не желающие занимать излишними доказательствами, то есть доказательствами аксиом, его драгоценное время, постоим еще минутку возле ангела, который нам так некстати попался на темной дороге и которого мы, чуть об него не споткнувшись, оставили в завшивленной ночи.

Так давайте же припомним, что этот горбун с плоским лицом сидел тут, когда все было погружено в сон (он сидел тут, ну да! на развалинах всего того, что, вытянувшись до небес, со временем естественным образом лишилось сил), сидел тут, играя звездами, как камешками, он не звал их, но они слетались в его ладони. Припомнили? Тогда вперед, перескакивая через трещины между мирами. Так вот, перед нами урод. Проанализируем его, начав с пальцев. Они первыми бросаются в глаза, ибо он играет в камешки. Движения пальцев какие-то нарочитые, самоуверенные; я бы даже сказал – неприятные. Каждое из этих веретен, тонкое, но не изящное, напоминает мне убедительную и доказанную мысль, заклиненную между двумя решительно настроенными суставами, которые вот уже дважды словно пытались пленить ее, дважды вырвавшуюся, вырвавшуюся броском, с каждым разом все более совершенным, пока она не добралась наконец до последнего звена, колеблющегося над пустотой и с подозрением ощупывающего ее своей чувствительной подушечкой. Нет, вы только посмотрите! На этих решительно очерченных суставах завелся чужеродный хрящ, мелкий студенистый изъясн, и этого достаточно, чтобы совершенно прямой поток, вертикальный, как бросок ястреба (награда тому, кто найдет *tertium comparationis*⁸), скользнул в сторону и искривился; словно мысль, которая точно знает свою цель, но которая все же идет не туда, куда, если ей не хочется оказаться бесполезной, она должна была бы направиться.

А вот теперь, когда он пробормотал – почему пробормотал? – когда он бормочет, то он весь как будто шевелится, хотя ни один мускул его плоского лица не дрогнул, не затрепетал даже самый мелкий осиновый листочек, вы обратили внимание на его рот? Резкая и мощная линия губ – словно грубый фриз, который мог бы стать красивым, если бы скульптор, которого спугнула некая неведомая опасность, не сбежал и не бросил на произвол судьбы свое проклятое

⁸ Третье в сравнении (лат.).

и прекрасное произведение. Эти мощные губы, этот грубо очерченный рот – еще один короткий, бездумный и злобный удар долотом, и он бы навеки обрел значительность, навеки стал или вездесущим смехом Гелиоса, или тщетной и милосердной улыбкой, с которой Шакьямуни погружается в бездонные раздумья, или зияющим темным кратером, откуда вырывается языками пламени бессилие Того, чья вездесущность раскалена добела. Всем одновременно! Всем против всего. И хватило секунды рассеянности, хватило того, чтобы один уголок рта опустился чуть ниже другого, хватило крохотного разрыва в линейном течении сознания, чтобы вышла эта отвратительная гримаса! А его глаза! То ли омут, полный жидких опалов, где поселился некий демон света, бежавший от справедливого гения тьмы; то ли куст, загоревшийся оттого, что там притаился бог; то ли мельтешение огней, фейерверк темных катастроф, в которых никто не виноват, ибо их никто не предвидел: бешенство любви, предательство ненависти, ужасная засада беспредметной мести – сколь же велики были замыслы того, кто задумал эти глаза! Итак, их два; они одинаковы и одинаково совершенны; но едва заметное отклонение от оси – и вместо сверкающей тьмы, где должен был бы мерцать свет всеобщей совести, мы видим злобно-стыдливое признание в пороках.

Я не спрашиваю вас, что именно задумал тот, что именно задумало *то*, что создало эти пальцы, этот рот, эти глаза и эту трагически играющую мускулатуру, это отчаянно бесстрашное напряжение сухожилий, знающих, что напрасно ожидать случая для прыжка, их достойного, я не спрашиваю вас, чем это должно было быть. Мы знаем это и, зная это, знаем также, что есть вещи, существующие лишь до тех пор, пока у них нет имени. И достаточно творцу ненадолго забыться, на миг увлечься каким-нибудь захватывающим никчемным ярмарочным зрелищем, как вместо бога на свет является горбатый уродец. Но над этим кошмаром высится мрачное величие грубо вытесанного, с нежными впадинами, лба, который словно создает идущую и вверх, и вниз ловко сооруженную плотину, отделяющую область самоотреченных раздумий от области ненасытной пылкости, а под этим безупречным лбом, свидетельствующим о разбитой вдребезги беспредельности, сидит ночной ангел и играет со звездами, которые, поскольку они всеведущи и их ничто не может обмануть, слетаются к нему.

Итак, о сегодняшних европейцах 14 века. Они отстали и не знают, кто они, собственно, такие. Может быть, крокодилы; может, бананы; может, прибрежные скалы, которые неуклюжая рука, а скорее время и непогода, превратили в идолы; может, голое, черное, прямо стоящее «нечто», чьи белки глаз наливаются кровью при взгляде на гладь омута, осколок зеркала или острие копья, отполированное частым метанием; это недоверчивое и пугливое, но не изумляющееся «нечто», которое, смотрясь в зеркало, изумилось бы не больше, чем оно изумилось бы, если бы вместо того, что оно видит, увидело бы крокодила, банан или прибрежную скалу. Однако я их переоцениваю (если не недооцениваю), говоря, что порой они не знают, кто они такие. Тот, кто, будучи то тем, то другим, знал бы об этом, должен был быть европейцем двадцатого века. Ибо европеец века четырнадцатого то тем, то другим так или иначе *является*. Но, видимо, я их все еще переоцениваю (если не недооцениваю), наверное, они *не являются*, наверное, им это только снится. И еще шаг (когда речь идет о точности и праве, никаких усилий не жалко)... может, это все-таки сон, но нет, ведь если сон так запечатлевается в памяти, то что же нам называть бодрствованием?.. И еще одна, последняя, попытка взмахнуть нашим бодрствующим бессии-

лием, чтобы подобраться хотя бы к границе величественных представлений тех живущих, для которых сны – это иная ипостась бодрствования (если только бодрствование не являет собой сон, хотя и чуть менее надежный), неотъемлемое владение и достояние, передающееся по наследству: может, они видят сны не только за себя, но за все человечество, *свое* человечество, подавляющее большинство которого, как вы знаете, состоит из мертвых?!

Я приближаюсь к самым сложным, самым ответственным перевалам через пороги, за коими наконец смогу уверенно противостоять друзьям, которых мало, врагам, которых еще меньше, и пурпуру ухмылок, имя которым – легион и до которых мне нет дела. Пишу я все это главным образом для того, чтобы никто не думал, будто я выдаю себя за героя. Когда я окажусь за порогами, кто поднимется против меня?

К простейшим порогам философским, к более значимым – как бы это выразиться? – к более значимым порогам общественным. Они гораздо важнее. Что касается первых, то достаточно попросить благосклонного читателя, пусть даже из легиона пурпурных ухмылок, не забывать о том, как я недавно убеждал его, что милость не находится в прямой зависимости от заслуг (а с учетом космических аналогий это касается и проклятий) и что поэтому, даже и без особой нужды, а только ради диалектического удобства, можно ввести определенную, но вовсе не бесконечную шкалу милости (проклятия). Тем самым мы упростим представление об эволюции милости (проклятия), ибо, во-первых, учтем количество видов внутри одного и того же рода (смотри выше), а во-вторых, учтем продолжительность существования. Например: негр менее проклят, чем белый европеец; белый европеец 14 века был менее проклят, чем мы; американский негр снискал меньше милости, чем его родственник из девственных лесов Конго.

Что же касается ответственности общественной, то вот как я надеюсь избежать непонимания между благосклонным читателем – ты откуда? – и собою: Я знаю, к кому обращаюсь; но еще лучше знаю, что я этого недостоин. Путешествуя по железной дороге, я езжу лишь в салон-вагоне; плывя на пароходе, занимаю каюту с пробковыми перегородками, ибо не выношу промискуитета. Собственно, пассажирскими пароходами я пользуюсь в исключительных случаях, у меня есть собственная яхта; гостиницы? я не настолько богат, чтобы снимать в отелях-дворцах целые этажи, но при этом чувствую себя неловко, если мне выставляют счет за день меньше, чем с тремя нулями (справа); говорить о своих требованиях к одежде не буду, находя это верхом безвкусицы; достаточно сказать, что они весьма значительны; рестораны я считаю *допустимыми* – но обыкновенно ем в своем номере-люкс – только в том случае, если их пол в три слоя покрывают ковры, если посуда там из тяжелого серебра, если официанты и метрдотели вышколены настолько, что подают еду, словно танцуя иератический танец, если музыка в зале колышется неопределенная, с мелодией, дышащей тем сложным ароматом, что заставляет всех посетителей – даже если они и не успели пока отведать аперитива – воображать себя прекрасными. И т. д., и т. п. Что об этой исповеди думает пурпурная ухмылка, мне совершенно все равно; те, кто меня ненавидит (их я сосчитал бы по пальцам искалеченной руки), те, кто был привязан ко мне (бывают руки, как однопалые копыта), знают, что говорю я не для того, чтобы хвастаться, но чтобы передать степень своей цивилизованной испорченности, свою неспособность вернуться к цивилизации примитивной, даже если мне посулят за это гипотетический посмертный рай. Я воспроти-

вился бы повороту вспять и по иной причине, а именно: Если столько всего накопилось на моей совести, то это оттого, что я, как говорится, человек чувствительный, меня легко растрогать, и я даже могу прослезиться. Есть ли на моих руках кровь – не знаю; но был момент, когда и леди Макбет сомневалась в себе; впрочем, кровь на них есть хотя бы потому, что часто, вместо того чтобы попросту убить, я в решительный момент отворачивался, крича: «Только не кровь, только не кровь!» Для чего я пишу все это? Единственно для того, чтобы объяснить, какой ужасной была бы для меня жизнь вне цивилизованного человечества, какой неприемлемой, какой невозможной! Ах, вы только представьте себе: оказывается, кое-где еще встречаются людоеды! Да что там людоеды! Есть дикари, поедающие печеных мертвецов (мертвецов, погибших естественной смертью): их размолотые кости смешиваются с финиковой мукой! Есть матери, которые топят своих детей только за то, что верхние зубки у них прорезались раньше нижних! (Замечу кстати, что и в тех краях у матерей, убивающих своих детей, разрывается сердце. Если же они все-таки подчиняются закону – а ребенок, чьи верхние зубки прорезались раньше нижних, приносит племени несчастье, – если они все-таки подчиняются неизбежному, хотя и «с [разорвавшимся] окаменевшим сердцем», то это не значит, что они, подобно Ниобе, не пытаются умолить богов или склонить колдунов прибегнуть к той или иной уловке, причем не всегда безуспешно [это доказывает, что они способны настойчиво защищать свое дитя], поскольку у бакве порой, пускай редко, позволяется вместо злополучного ребенка утопить какую-нибудь его частичку – отрезанные волосики, ноготки и пр., – завернутую в его пеленки...)

Жить среди людей, для которых «цена человеческой жизни» так низка, – Боже, какой ужас! Удастся ли мне убедить вас этим восклицанием, что я вовсе не один из тех, кто за столь туманные обещания готов пожертвовать своей шелковистой чувствительностью, своей просвещенной человечностью, а?! Что же касается вас, пурпурные ухмылки, то разве могу я решиться пренебречь вашими пустышками? Нет, нет! Но только не думайте, что я отвечу вам звоном бубенчиков. Я абсолютно серьезен. Я знаю, что, не зная, будучи не в силах знать, вы все-таки уверены в существовании рая; но ваш рай сшит на всех по одной мерке, и вы кроили его – разве что слегка увеличив в размерах – по земным лекалам, в нужный момент оказавшимся под рукой, то есть исходили из утилитарно понятого антагонизма между добром и злом, причем добро по-вашему – это то, что гладит вас по шерсти, а зло – то, что против шерсти. Знаю, что единственная хитрость, к которой вы можете прибегнуть, чтобы волосы не вставали дыбом от ужаса, это трудиться здесь на Земле ради максимума «добра» с заученной верой, что рай – это нечто, где такое «добро» абсолютно, то есть где оно уже не должно будет уравнивать даже электрон «зла», и что так вы туда попадете. И этот рай вы представляете как наивысший уровень блаженства, находящегося в прямой зависимости от: пенсионного и социального страхования, гигиены – «в том числе и для бедных»; учреждений народного образования и просвещения; деятельности Красного Креста, результатов Локарно и прочих Келлогов и подобных лицемерных пошлостей; запрещения ядовитых газов на войне; профессионального надзора над бойнями; безопасных абортот – и вообще гуманизма.

И, клянусь, я не шучу. Я серьезен, ибо знаю, как вы вжились в это свое слегка облезлое блаженство, знаю, что для вас, так же, как и для меня, важны комфорт, хорошая полиция, безопасность, предусмотрительность, рациональное регулирование проституции, беспристрастность жюри на конкурсах и при рас-

пределении премий, совершенство демократии, о которой я не знаю, важна ли для вас она сама или только споры о ней, являющиеся якобы ее коррелятом. Для меня и для вас – ставя на первое место себя, я вовсе не зазнаюсь, а совсем наоборот – важно в первую очередь (в первую очередь? Как это? Да вот так!) выбить следующие широко распахнутые двери: «Man lebt nur einmal»⁹. Я прошу вас не принимать ничего из сказанного выше или ниже за памфлет, направленный против цивилизации; за бессмысленный трактат, рекомендующий вернуться к природе, за партийное применение формулы «Восток против Запада», за поддержку примитивных цивилизаций и т.д.

Цель у меня очень скромная: разъяснение моей поэтики, а на данном этапе – крохотная невинная инсинуация, заключающаяся в том, *что, несмотря на все*: на старательно натренированную способность судить, которая ничтоже сумняшеся отождествляет интеллектуальное доброе житье с блаженством, которая возвысила благотворительность до некоего абонемента на спасение, а коллективные чаепития – до ангельских хоров, что, *несмотря на эту уверенность*, будто тот, у кого спокойна совесть здесь, уже находится на верном пути к добру, правде, спасению, милости и славе там, так вот, *несмотря на все это*, даже в убежденности величайшего оптимиста зияет порой мучительный провал. В провале этом бурлит неопределенность, которая внушает тебе – тебе, сидящему в первом, третьем, восьмом ряду в кресле номер x, y, z, тебе, то есть кому угодно, – что власть, безопасность, твоя относительная уверенность (но разве ты допустишь, что она лишь относительная) не в силах победить эту смешанную со страхом ностальгию по удивительной множественности, цельности, по тому да – нет, по тому вакууму вопросов, среди которых тебе бы лучше обосноваться, чем их задавать; в то время как он, увидев себя в зеркале чем-то прямоходящим, изумляется не меньше либо изумляется столь же мало, как если бы гладь омута, осколок зеркала или отполированный наконечник копья отразили крокодила, банан или прибрежную скалу, одновременно являющуюся скалой, предком и им самим.

Мы способны изумляться так же мало, как он? Употребив оборот поэгантнее, скажу: «Задать подобный вопрос – значит ответить на него». Вовсе нет, мы не способны изумляться так же мало, как он. Наша гордость, наше чувство интеллектуальной власти над миром, наша бессмысленная надежда, что «это мы еще увидим!», зиждутся на трех столпах: законе причинности, тройном правиле и самонадеянном правиле больших чисел. На этих трех столпах располагается ложе, и на ложе этом нашей ограниченности лежит так удобно, что она не замечает своей идентичности с этими столпами. (Господам, готовым со всем своим остроумием ополчиться на слово ограниченность: здесь запрещено воспринимать это слово в том смысле, какого требует их глупость.) И умы, якобы ориентированные на религию, притворяются, будто мистики действуют им на нервы и будто они поклялись пробиваться к сути тараном Фомы Аквинского – и ничем иным. Наверное, при помощи схоластики действительно можно постичь суть чудес; суть – она не слишком далеко. Короче, мы не боимся, но изумляемся. Примитив – сегодняшний европеец 14 века, – хотя и боится, но не изумляется. Однако какими именно были европейцы 14 века в четырнадцатом веке? Думаю, господин Гарви слишком все упрощает: «распространенные тогда суеверия» (много ли было умов настолько просвещенных, чтобы им не поддаться?);

⁹ Один раз живем (нем.).

ведьмы, шабаши, чудеса, оборотни, проклятия, превращения, порча, сглаз, фетиши, привидения, весь этот арсенал для оглупления народа (унаследованный и обновленный, не хочу говорить кем, а также приспособленный *au goût du jour*¹⁰, вызывает теперь всеобщее если не уважение, то страх, совсем так же, как прежде, когда он таился в сводчатых подвалах в компании с чадящей масляной лампой, рассыпавшимся скелетом, ретортами, раскоряченным дубовым столом, большим креслом, совой) – так вот, господин Гарви твердо верит, что его земляки позже их преодолению. Я им этого от всего сердца желаю. Но раз речь здесь идет не о благом пожелании, а о пожелании неблагом, то вопрос звучит иначе: одинакова ли суть, скажем, ритуала подпрыгивающих процессий и ритуала массового обрезания у лхотонагов? То есть можно ли ожидать, что посвящение в колдуны у дикарей через шесть столетий – если все пойдет плохо; в ином случае, разумеется, раньше – станет таким же историческим курьезом, каким в наши дни являются подпрыгивающие процессии в уж не знаю каком немецком городе или ползающие процессии во французском Рокамадуре; а может, европейские массовые внушения, суеверия и обманы уже и в 14 веке не имели той оккультной сущности, той захватывающей силы (слово захватывающий здесь надо понимать чисто этимологически, без мельчайшей лирической фальши), той реальности *снов*, которая еще присуща в наши дни примитивным обрядам? Я склоняюсь скорее ко второму мнению. Полагаю, что даже самый отсталый (замечательное слово!) европеец 14 века боялся меньше – и соответственно меньше понимал, – чем сегодняшней людоед из Новой Гвинеи.

Ему, наверное, запросто могло прийти в голову – впрочем, размышлять об этом он был не способен, – что его соседка Вероника, толстая баба, кровь с молоком, которая так хохотала, когда он залезал ей под юбку, и есть та самая проклятая паршивая черная кошка, что путается у него под ногами, когда он по ночам возвращается из кабака, – а потом исчезает, словно под ней земля разверзлась, стоит ему кинуть в нее башмаком, но гораздо труднее ему было бы вообразить, что если Вероника и кошка являются одним и тем же, то это *совершенно естественно*. Тораджам, согласно многим свидетельствам, это и нынче с легкостью удастся, а вот Вероникиному соседу Здиславу чудился запах серы... Здиславы чуяли злого духа. А ведь любое общество, приписывающее чудеса злым духам, теряет способность видеть сны наяву, теряет свою невинность и начинает изумляться. У примитивного человека могут быть враги среди созданий той же фазы, в которой находится он сам, но вне его фазы врагов нет, есть только наводящие ужас. Племя кориаков бьется, скажем, с племенем ленгуасов, настроены они примерно так же, как воюющие друг с другом народы цивилизованные (разве что кориаки и ленгуасы в своей жестокости менее лицемерны), но дух медведя, убитого без соблюдения примиряющих обрядов, приходит мстить своему роду не как враг, а просто потому, что его приход неотвратим, как закон. С помощью фетишей колдун эве добивается результатов, сходных с теми, что достигались европейскими средневековыми колдунами, но это – не магия. Религия-суеверие сжигало священников суеверия «черного», а колдун тонга одновременно священник, и рядом с ним нет другого священника. Если кодзамам известна Мелузина, то готов биться об заклад, что ее завывание ничуть не похоже на завывание Мелузины наших предков (иная тональность). Короче говоря, я полагаю, что, начни развиваться нынешние европейцы 14 века, они не

¹⁰ На потребу дня (фр.).

пойдут – в силу другой своей сущности – в том направлении, что и европейцы настоящего 14 века. Эти богаче тех, а те были богаче, чем мы. Если примитивный человек для нас несравненно более чужой, чем наш средневековый предок, то это вовсе не означает, что мы можем проследить сны этого предка. По дороге в двадцатый век столько всего рассыпалось, что восстановить почти невозможно. У черного нет оттенков. И вещи неизвестные известны не более, чем вещи, еще менее известные. Здислав – это, обобщенно говоря, мы; кодзамы – не мы; и все же Здислав для нас загадка не меньшая, чем кодзамы. Старые сонники свидетельствуют о том, что в средневековье сны были страшнее, чем во времена, просвещенные культурой обязательного образования. Статистика – наука бесценная, но есть у нее дурная привычка проглатывать некий элемент, и этим элементом якобы случайно оказывается, как правило, тот, что наиболее необходим для познания «положения вещей». Наверное, в средние века сны и в самом деле чаще бывали страшными. Однако сонники могут свидетельствовать только о количестве снов, а вовсе не об их качестве. Я благодарен за знание, что средневековые сны были страшнее, но кто расскажет о том, что кажется мне несравнимо более важным, а именно – были ли они фиолетовее, сыпучее, разреженнее, яйцеобразнее, лучше или хуже подвешены, сильнее ли дребезжали, острее ли были отточены и т.п.? Об этом, конечно, хитрая статистика из осторожности умалчивает. Ибо по опыту знает, что ей под силу обрабатывать лишь второстепенное. Как поступать с вещами, с качествами, с существенными оттенками, то есть с самыми бодливыми из реальностей, она не знает; и никто из нас не знает. Ибо они по большей части невыразимы. К сожалению, именно на основании этих реальностей, самых тонких, но и самых бодливых, можно было бы определить, как далеко мы отплыли от Здислава, до какой степени мы отшлифованы. Все свидетельствует за то, что мы Здислава своим бы уже не признали, а он не признал нас. (И не рассказывайте мне про памятники письменности!) Разве не достаточно разницы всего в одно поколение, чтобы старшие и младшие уже считали друг друга непостижимыми иностранцами?! (Ученая стезя, по которой я довольно долго шагаю, извивается подо мною, как пробудившаяся змея. Жаль, что я вот-вот соскользну с нее – ведь меня еще многое волнует!)

То, к примеру, что указанная выше «шлифовка» совсем не выходит за рамки нашего понимания. Причину ее мы здесь рассматривать не будем; но лишь выступим в скромной роли судей в споре между теми, кто говорит «это возможно», и теми, кто утверждает противоположное. А о самих причинах мы скажем немного: по-видимому, они того же свойства, что и причины, по которым когда-то в давние-давние времена началось расслоение человечества, пришедшего постепенно к состоянию столь гетерогенному, что отдельные слои стали друг для друга психически непроницаемыми, как, например европейцы и «примитивные народы». (Но также и европейцы с монголоидами, хотя и те, и другие цивилизованы, разделены глухой стеной): причины заключаются в той силе, которая определяет долю Милости или Проклятия, – а ее пути и цели неисповедимы. Если бы дело обстояло иначе, этот мой памфлет был бы столь же излишним, как любая систематическая философия. Если бы дело обстояло иначе, мы были бы молодцами, ибо были бы *причастны*, а не вовлечены.

Так вот, об этой «шлифовке»! К счастью, есть история, за которую мы хватаемся с тем большей радостью, что она – и это действительно правда, хотя, впрочем, с какой стороны посмотреть – никогда не повторяется. История показывает, что такое обтесывание человеческой вещности (не через ч) происходит

удивительно быстро. Нагляден пример американских негров: те, кто перевозил с африканского континента первых рабов, перевозил бесформенную кишевшую массу, присматривать за которой надо было не с большим вниманием, чем за грузом черного дерева, копры, гуттаперчи. Этот груз был грузом человеческим; это нечто совершенно иное, чем груз, из людей *состоящий*. Мне нравится представлять себе коллективную мысль этой неделимой, ошеломленной и беззаботной массы в виде довольно-таки неуклюжего бумажного змея, которого это растерянное стадо полагает своей неотъемлемой частью, хотя и не из него возникшей. Все, что стадо при определенных внешних условиях чувствует и думает, оно переносит путем некой психической левитации на это принадлежащее к толпе и все-таки отдельное от нее чудовище; сама же толпа не думает, не чувствует; она совершенно невинна. Однако между нею и этим ее психическим складом есть связь: от змея будто тянулось столько веревок (телеграф, но отнюдь не беспроблочный), сколько было пар рук; и каждая пара держала одну веревку. Положение змея менялось с каждым дуновением ветра, каждое изменение одновременно «съезжало» по каждой веревке, все пары рук одновременно чувствовали «изменение ситуации», но не как изменение, а как дерганье или колебание – настоящее преобразование одной энергетической формы в другую (в данном случае психической в физическую), – и все эти дерганья и колебания сложились во впечатление, умноженное на x , но по сути тождественное каждому из впечатлений частных... И что осталось от этого черного унисона, когда заботливо накормленный груз оказался где-нибудь в Вирджинии? Красивые, статные, сильные, умеющие ходить черные вещи – окрики и бичи играли им походный марш, – каждая из которых держала одну из ниспадающих веревок. Но, ни к чему больше не привязанные, они повисали в пустоте, словно волшебные канаты факиров. Вдоль них ползла ностальгия по чему-то неизведанному, незаменимому и недостающему. Ибо груз распался на составляющие, и не было больше этого неповоротливого змея, змея присущего и вместе с тем внешнего. Каждая такая шагающая черная вещь чувствовала, что потеряла нечто: потеряла способность *не быть* личностью. Данная потеря оказалась тем более чувствительной, что вещи этой пришлось быстро научиться кое-чему такому, что до сих пор ей было неизвестно: делать различие между собой и остальными («не собой» – как она выражалась), а еще ей предстояло научиться спрашивать с людей, а следовательно, и с себя. Открытие, что она *должна* чувствовать и думать, было бесконечно мучительным.

Сколько лет прошло с тех пор, как началась американская шлифовка черного африканского гранита, обладавшего единым, нерасчлененным и великолепным сознанием того, что мы то ли существуем, то ли нет, что все наматывается на Единое, откуда и развертывается в многообразие, вновь наматывающееся уже на иное Единое, но до тождественности родственное первому? Как давно это было? Допустим, четыре века назад. Или же одну минуту. Потом война Севера против Юга и освобождение негров. Где те времена, когда племя сжимало своих членов в гомогенность настолько неразделимую, в духовность такую конкретную, что для насыщения всех было достаточно, чтобы наелся один?! Американские негры оказались во власти суеверий... «Вот оно и видно, вскричала пурпурная ухмылка, что он недалеко ушел от своего африканского родственника!» – Как бы не так! Ведь тот нисколько не суеверен. Суеверие ведет к развалу, непоколебимый, неуязвимый и почти рассудочный тотемизм – никогда. Как похожи друг на друга эти двое – и какие они разные! Два шара од-

ного размера, одного цвета, но один сплошной, а другой полый. Взвесьте их, ибо из всех физических признаков не обманет только вес. Американский негр – это цвет, лишенный формы, то есть почти ничто. Его африканский родственник черен лишь по недосмотру, если не по равнодушию природы. Диаспора, крещение, белые русалки, пуританство, либерализм и слово «свобода» отшлифовали американского негра, если вовсе не стерли его в порошок. Он не заходит в кабаки, посещаемые англосаксами, не насилует белых женщин, носит лаковые ботинки, пестрые галстуки и не слишком броские костюмы, почти пользуется гражданскими правами – и у его африканского родственника есть некоторые причины ему завидовать. Вероятно, он ему действительно завидует, ибо вознесен над ним столь высоко, что не обращает внимания на различия между уровнями.

Поскольку среди белых людей распространена уверенность, что существует некая более интегральная сфера, чем та, в которой они блуждают, сфера, откуда их изгнали и куда они хотели бы вернуться, но не знают как (ибо их еще не осенило, что единственный способ войти туда – это отказаться и отречься от долгой череды веков), то они загляделись на этот черный цвет, лишенный формы, и решили, что именно там-то наконец и наступит рассвет. (Кто обречен, тот всегда попадает пальцем в небо; кого боги решили отвергнуть...) Другим кажется, что рассветет на востоке, и они ждут, не зная, что день неподвижен и что войдет в него лишь тот, кто шагает ему навстречу. Негритянская музыка, танцы, негритянская надменность. Аборигены из Того обступают волшебный ящик (длинные худые ноги слегка согнуты в коленях, на которых покоятся руки, поддерживая склоненное туловище) и вдыхают вонь фонографических пластинок, которые любопытный и услужливый Пол Моранд привез от их родственников из североамериканского города Бетлехема, этого негритянского Туле, где, по слухам, то один, то другой более или менее белый негр, «дитя своего века и англосаксонской цивилизации», по непонятным причинам машет рукой на это свое выгодное положение, достигнутое благодаря четырехсотлетней шлифовке, и принимается выть, как самый настоящий степной шакал, его бывший двойник.

Что тут скажешь! Пол Моранд привез неграм Того эти пластинки как «привет издали в память о нашей любви». Это танцы и песни, какими заряжают сухие электрические батарейки вроде Жозефины Бейкер и Джо Дима из Мулен Руж (о, эти его лопаты в белых нитяных перчатках, эти его клетчатые подштанники, вечно спадающие, но ни разу не упавшие окончательно, эти его красные галстуки на резинке!), которыми мы успокаиваем наши измученные цивилизованные нервы. Не знаю, так ли представлял себе Уитмен вторжение оздоравливающего варварства; однако дитя двадцатого века, дитя, мечтающее о примитивистском опрощении, но скорее жертвующее пятью минутами драгоценного времени в ожидании лифта, чем поднимающееся на второй этаж пешком, это наивное дитя из американ-бара, митридатизированное манхетеном (я о коктейле), словно рождается заново, когда восторгается бордельными танцами, хотя это и бордели с негритянками, которых одарили сифилисом бледнолицые мужчины... У негров из Того – Пол Моранд тому свидетель – начался насморк: вонь этих столь ценимых европейцами возрождающих пластинок не говорит им *rien que veille*¹¹. *I'm nobody's Mama, Old Man River, I'm a little Apple on the Bough* тщечно урчат, орут, скрипят и гундосят. – Компания банкирских до-

¹¹ Ровным счетом ничего (фр.).

чек, чемпионов по теннису и папенькиных сынков, закусывающая на пикнике в тени нетерпеливого бьюика на лужайке где-нибудь у Аваллона, давно бы уже отдалась этой *первобытной* животной музыке запоздалых европейцев (американцев) 14 века господина Гарви; неграм же из Того достаточно потянуть носом, чтобы учуять в ней смрад загнивающего общества своих белых врагов, которое не знает, куда податься, и удовлетворяется любой ложью. Головы на склоненных туловищах вопросительно качаются, глаза смотрят не на фонограф, а вверх, словно этого чуда ожидали от небес – ибо негры из Того столь умны, что угадали: если белый почтил их таким редкостным концертом, то не для того, чтобы доставить им удовольствие, а лишь потому, что ожидает «чуда», и они – его пассивные наблюдатели; но в тонких икрах, худых бедрах – никакой дрожи, никаких произвольных подергиваний, какими реагируют негры на самый слабый звук *своих* барабанов, на самое тихое дребезжание *своих* однострунных лютен.

Нет, цвет кожи – это не все; разве я уже не сказал, что это не что иное, как недосмотр природы, если не элегантно доказательство ее равнодушия? Какой же белой должна была показаться этим недоверчивым Жозефина в перышках, каким иноземным ее неподдельное – о да! – black-bottom. Прямо как какой-нибудь волжский мужик с плоским носом, татарскими скулами и прямыми светлыми волосами цвета конопли – сын славян enfin¹²!.. А почему бы нам и вправду не завести этакий хоровод пермских крестьян? Пол Моранд, так свидетельствуйте же еще раз! За два подобных свидетельства мы простим вам всю вашу «Черную магию». Она слишком уж туманна, а вот репортерский отчет – это да, документальная история с фонографом – словно мост из древних времен в далекое будущее, если, конечно, дать себе труд согласовать пространство со временем.

Итак, подытожим. Африканские негры, то есть негры, то есть, если можно так выразиться, сегодняшние европейцы 14 века, со своими американскими родственниками договориться уже не смогут, не смогут даже с помощью того, что было «отшлифовано» позже всего, то есть ритма ходьбы и тональности колыбельных, но звуки русской хоровой песни напрягают их сухожилия ритмической волей, адекватной той, что пробуждает священный тамтам, а си-минор малороссийской былины – не столь непреодолимое препятствие, чтобы они не смогли услышать в нем четвертитоновые гаммы своих гортанных военных напевов. И нет ничего удивительного в том, что правители черных колоний жалуются на досадное распространение коммунистических идей среди «обработанной» черной массы! Якобы это дело эмиссаров. Эмиссары же, разумеется, это фонографические пластинки, огромные, как континенты, и вращающиеся на шипах мистической чувствительности, которые приводятся в движение пружиной симпатии, распространяющейся по законам теплового излучения. Но вряд ли вам удастся отыскать колониального министра – или какого-нибудь из его подчиненных, – который, если вы не станете его пытаться (а пытались бы вы его ради стоящего дела), согласился бы, что Екатеринославская губерния (губернии еще остались?) непосредственно соседствует с Угандой!

Соседствует! Кто соседствует? Те, которые, еще будучи крепостными, в глубине своей всезнающей души потешались над поработителями, и которые теперь, когда им «дана» «свобода», взглянули на эту абстракцию, дедуцирован-

¹² В конце-то концов (фр.).

ную из «научных» истин, как на редкостного гомункулуса, и остались верны своим вечным не поддающимся анализу истинам, показывая кукиш в кармане освободителям, которых они использовали и которых презирают; а те, кого эксплуатируют именем цивилизации и культуры, смеются про себя над эксплуататорами, грезя о чудовищном и утешительном Единстве, плавать в котором умеют лишь они одни, полные темной решимости растоптать завтра освободителя, разрушающего их давний союз с отчаянием, которое когда-то так играючи преодолел предок Хам, отождествив себя со всей природой и заржав. Иначе говоря, равный равного не только ищет, но и дает ему условным тайным языком указание в день X и в час Ч явиться на место, прежде незнакомое, которое им откроет в нужный момент ангел-хранитель, на место, о котором известно лишь, что висит оно, как люстра с приглушенным светом, над морями и континентами (бесполезно спрашивать моря и континенты, откуда приходит к ним свет; с востока? Вовсе нет, сверху!), и уже оттуда, по-товарищески сплотившись, будут они во всезнающую интеллигенцию (и интеллектуалов) посылать стрелы, напитанные ядом кураре, что добыт из прессованного познания, выпавшего в осадок из размытых снов грубых существ. Эта история с фонографическими пластинками, какая мелочь, верно, господин профессор? Куда вы, вечно сующий всюду свой симпатизирующий нос, поместите ее? Разве это не отличный подвал для вечерней газеты? Так вот, имейте в виду, что я сделаю из нее решительный ответ господину Гуэну (*La Nouvelle Revue Française*, le novembre¹³ 1928; ограничусь одной-единственной цитатой, хотя мог бы просто нашпиговать ими свой памфлет), чтобы он лишний раз не спрашивал, а запомнил раз и навсегда: человечеству наплевать на системы, научные познания и ложные присяги интеллектуалов, которые, героически перед ним накривлявшись, уходят за кулисы, чтобы мамочка перевязала им мизинец с заусеницей.

Фонографические пластинки не случайно имеют форму диска – как солнце. А купола-луковки русских церквей, как братья-близнецы, похожи на нигерийские хижины, сложенные из глины и помета; они только несколько выше подняты над землей, но это, наверное, вызвано различиями в климате. Так чему удивляться недовольным колониальным правителям? У них, несмотря ни на что, чуть лучше, чем мы предполагали. Да только аналогия между Екатеринославом и Угандой возникла не вчера – достаточно послушать фонографические пластинки, – однако до вчерашнего дня она никого не тревожила. Пермские крестьяне уже давно сроднились со своими братьями с Замбези, из новой Каледонии и с острова Пасхи – сроднились, не прилагая к этому никаких особых усилий, – сроднились в созвездиях, где уже давно не бушевало никаких космических землетрясений; что удивительного в столь близком родстве, если Хамов сын произвольно раскачивается в том же ритме и с той же амплитудой, как и тот, кто, на мгновение охваченный смятением от неожиданного наступления ученых узурпаторов, ищет такое место, где он мог бы остаться в новой «системе» тем же, кем он был в прошлой? Ибо важно именно место, а вовсе не система; Россия же, чья единственная сегодняшняя проблема – это суметь любой ценой стать тем, чем она не может не быть, чтобы не погибнуть, то есть тем, что познает окружающее всей поверхностью, всеми порами, предрассудками, суевериями, атавизмами и до безумия испуганной интуицией, но никак не забитой доктринами головой, так вот, Россия заразила своими парадоксами,

¹³ «Новое французское обозрение», ноябрь (фр.).

своими заблуждениями и своими истинами (сплошная кровь) всех тех, с кем она потаенно в родстве, всех, всех тех, чья память столь прекрасна, что они способны связать сон ночи и сон дня узлом столь крохотным, что даже самое нежное прикосновение не нащупает его.

Это опять ты, летательный аппарат, которому завидуют птицы, ибо ты смотришь свысока, даже не оторвавшись от земли. К чему давать имя вратам, не имеющим размеров, за коими начинается край, где не существует понятий верх и низ, слева и справа, изнанка и лицо, где вчера – это завтра, а послезавтра – год тому назад, где векам, стянутым в одну секунду, так же удобно, как Золушкиному платью в лесном орешке! Нутро континентов, окраска, речь, история и «цивилизация» которых соперничают друг с другом, как черное с белым, вдруг словно сводит судорогой; острое осознание того, что они тождественны, пробивает войлочный футляр и входит в них, как фонографическая игла, перед которой напрасно всякое притворство: она видит тебя насквозь и вынуждает говорить на твоём собственном языке. Эта судорога – не что иное, как прерывистый Божий сон, нарушаемый еретическими бунтами людей, стремящихся вовсе не к познанию Бога (ведь познать Его означает остаться в Нем и Им), но выйти из Бога, ибо они хотят *посмотреть* (сколь глубока пословица, что тем, кто долго глядится в зеркало, является дьявол!), а молния из тьмы во тьму, ударяющая порой внутри каждого из нас (когда, например, ты слышишь, как ночная бабочка бьется крыльями о колпак горячей лампы, когда ты, чуть пьяный, пристально всматриваешься в бармена, трясущего шейкером, когда тупой бурав клаксона ввинчивается в засыпающую природу, когда в пустом еще баре стук игральные кости сливается с долетевшими с улицы звуками воскресной шарманки, когда на блюде, полном мейсенских яблок, ты обнаруживаешь чернильное пятно свежей фиго), так вот, эта молния, ударяющая из целостности, которой мы не хотим признать, в целостность, к которой мы стремимся, будучи одновременно дорогой, которой надо было бы последовать, и ее обрывом, из-за которого мы никуда не можем двинуться, есть образ этого гигантского Божьего сна.

Какое же пламя горит в тебе, о ты, что в одиночестве своей комнаты сидишь на стуле, который так ловко встал в самый ее арифметический центр, отказавшись от моральной опоры даже самого маленького столика, что очутился именно там, где ему нечего искать, и теперь упрямо стремится к невозможному духовному слиянию с остальной мебелью, *находящейся на своих местах*; какое пламя горит в тебе, о ты, чьи руки повисли, а запрокинутая голова словно ждет, что ее окатит душем майский дождь?; что бьется в тебе, праздный дневной посетитель артистического погребка, ведущий молчаливую беседу с головами очкариков-денди, на которых наводят тоску их собственные силуэты на шершавом матовом стекле изящных ламп? что плещется внутри вас, замшелых, и почему сегодня, отставив свои ящики букинистов, стоите вы в ряд, забавно сгорбившись, перегнувшись через вечно недовольные перила набережной, в то время как ваше тоскующее я давно уже составило компанию падали, что Сена, обгладывая, уносит прочь, и воде, и рыбам. (*Я прыгнуло в воду, и гладь даже не подернулась рябью.*) Что это, как не нетерпеливое желание разобраться в разветвлениях несложного генеалогического древа, которое питают всего лишь два корня, из коих один тянется к стихиям, а другой – к вам?! Пылать, сливаться и – слиться! Свобода углов в треугольнике, которые не в силах не описать полукруг и не могут описать ни меньше, ни больше, свобода четвертого в тройном правиле, которое вольно или неволью, своей формой и предназначением втянуто в

свое предназначение и в свою форму, свобода случайности, происходящей тогда и там, когда и где было рассчитано для нее уже тогда, когда в арифметической прогрессии, этом левиафане, еще не мелькнула даже ее тень, свобода вод, всосанных невидимым отверстием подземной воронки, свобода мертвых кошек, собак и мелкого скота, крыш, кроватей и колыбелей, унесенных наводнением и забывших свою неподвижно стоящую на посту цель; кто лишил человека свободы невозможного выбора, кто навязал ему эту жадность, от которой он соглашается быть зависимым и не перерубать оков, созданных зависимостью, кто был тот, кто развел светлую тьму светом мысли, которая не светит, но лишь ослепляет, кто ограбил родину, но по забывчивости оставил ностальгическую тягу к ней? Всю свою жизнь мы проводим, обманывая ее невыполнимыми обещаниями. А когда утро за утром я с хрустом потягиваюсь, щелкая пальцами, которые кажутся мне на вытянутой руке такими далекими, чужими, белоснежными и изящными, как бабочки-капустницы, щелкая пальцами, которыми залюбовался мой новый, поначалу недоверчивый, но вскоре сдавшийся взгляд – сдавшийся четким и тесным берегам утра и бодрствования (тому, что мы называем бодрствованием: красному цвету одеяла, расхлябанным петлям орехового шкафа, сине-желтым зубчатым оборкам на полках книжного шкафа с бутоньерками в стиле Людовика XV) – я, пробуждающийся соня, наслаждаюсь этим знакомым и чужим пейзажем своей спальни, подчиняющейся законам гравитации, оптики и акустики, наслаждаюсь, подобно утопающему, только что выловленному из воды, который наслаждается вылизанным ладом и складом в доме протестантского пастора (семья как раз завтракает), где ему оказали первую помощь, наслаждается своей испуганной благодарностью, в которой вот-вот забудется головастик отвращения, и удовольствием, которое пощекотал первый, пока еще неяркий огонек любви к анархистскому и сладкому произволу (который тоже есть лад и склад, но только некоей неизвестной, неважно какой организации), на которое уже покусилась первая заусеница боли – доводилось ли вам проследить начало мучительной и долгой боли, скажем, зубной? – боли словно в ампутированной конечности, которой уже нет, а мы ее еще чувствуем.

Облегчение от того, что мы встали на якорь в «реальности», уже, однако, червиво отрицаемым прежде разочарованием, вызванным тем, что загадка сна испарилась. Пока мои пальцы-капустницы летят, летят за забытым сном, отдохнувшая моя голова уже безнадежно поникла, и я проваливаюсь в бдящий день: в свою половинчатую родину, до того, если присмотреться к ней повнимательнее, «натуральную», что тут явно не обошлось без какого-то обманного грима.

Невозможно, невозможно, чтобы было *определено* искупать отдых этим вынужденным ограничением; невозможно, невозможно, чтобы эта непреодолимая пропасть между сном, который пленит, и сном, который освобождает, существовала по праву и не была проклятием. Есть где-то мостик, по которому с берега на берег переходят так же медленно, так же легко и естественно, как из предместья в город и обратно (когда бы сон ни пригрезился), он где-то есть, и есть где-то те, кто по нему ходит. С берега на берег – но над такой глубиной, над такой тьмой, над таким подземным громоуханием! И что с того; переход этот столь же безопасен, как показ головокружительных трюков в кино. И тот, кто, пробудившись на заросшем камышом берегу (он решил спать возле трясины, а потому комары его не тревожили), *вскочил на ноги* – ты ошибся бы, посчитав, что скачок, которым его дух перенесся из ночи в день, был аналогом этого водружения горизонтали, этого вскакивания «на ноги», резкого, зигзаго-

образного, молниеносного. Его дух не знает того зияния, что раскалывает на две половины *наш* день: взгляни на него, этот человек – черный, блестящий – встал и вновь отправился в путь, опираясь на кривой сломанный им сук, он шагает в облаке пара, что испускает его тело, почти нагой, он не знает, где вчера остановился, откуда вышел и куда направляется: Этот плот из отточенных, не прилегающих вплотную друг к другу копий, подвешенный, как трос канатоходца, по которому, не поранив ступни, он брел в полнолуние сквозь тьму (пока тело его лежало в камышах), с поразительной легкостью уворачиваясь от тяжелых телег и толп одетых людей, преодолевающих тот же узкий плот, но в противоположном направлении, *сон* этот был ничуть не мрачнее, чем та протоптанная гениями тропинка, по которой шагает он ныне среди высокой степной травы (да, ее протоптали гении, ибо тянется она, как ему сказали, из незапамятных времен и ведет, вечно трапецевидная, как ему известно, во времена столь же незапамятные), как эта тропинка, где он не встречает никого, разве что свою тень и прощуршавшую мимо мускусную крысу, некое светлое и звонкое скольжение: свою тень, которую надо сторожить, чтобы ею не завладел какой-нибудь враждебный колдун, и крысу, к чьей семье, может быть, он принадлежит, и это светлое, звонкое, неведомое скольжение, чудесное, но вовсе не изумляющее. – Он и не изумляется; ибо жизнь есть сон, жизнь есть сон, жизнь есть сон, ничем не нарушаемый; разве что настанет день, когда сон этот вдруг сгустится, когда его контуры станут четче и отделятся от фриза, на котором они были прежде вырезаны; возвращение, прощание, слияние, смерть.

Сказали мне (физики, физиологи, анатомы, психологи мне сказали): Очевидно – если не истинно! – что образ, возникающий на человеческой сетчатке, не может быть более чем двухмерным; следовательно, мы воспринимаем мир плоским. *Воп*¹⁴! Но как же тогда выходит, что мы видим вглубь? Вглубь мы видим потому, сказали физиологи и психологи, потому, что, слава Богу, тут вмешивается суждение. И это суждение основывается на опыте. Точная наука не довольствуется тем, что, например, работает на руку алхимии и астрологии, бывшим наукам-суевериям (наука в кавычках, суеверие как таковое, без кавычек), которые ныне благодаря ее заслугам реабилитированы. Заметим кстати, что научный подход как способ реабилитации «оккультных» наук и магии – это зрелище скорее комичное. И так, она не довольствуется реабилитацией наук оккультных; один пируэт гавота – и точные науки любезно согласятся совершить то же самое для священной истории. Они уже, например, склоняются к гипотезе, что мир был создан за шесть дней. Интерпретируя, конечно: библейский день равняется геологической эпохе. Мне это не дает покоя: позаимствую-ка я точные науки, чтобы оправдать существование первородного греха. Первородный грех был, как известно, совершен тогда, когда человек, несмотря на запрет, съел плод с древа Познания. А наказанием стало изгнание из рая, потеря рая. Доставим радость точным наукам и отождествим Познание с удовлетворенным церебральным суждением. Эта замена – вы следите за моей мыслью? – незаметно приведет нас к выводу, что человек лишился рая в то самое мгновение, когда он, глупец, избрал дедукцию и индукцию. То есть – вы следите за моей мыслью? – мир понимаемый, мир судимый – куда человек выгнан в наказание – является (неизбежно, ибо это наказание!) рестрикцией мира рационалистически не интерпретированного. Человек изгнан из рая за то, что съел плод с древа По-

¹⁴ Отлично (фр.).

знания, «изгнан из рая» равняется «изгнан из края, где не изумляются», ибо лишь там все одинаково «вне суждения». Искупление и наказание. Не кажется ли тебе, любезный читатель, что и тебе порой случается очутиться в тех краях, где ты не изумляешься? Неужто бы ты изумлялся во сне? То есть изумлялся бы, отправив «суждение» в отпуск, когда тебе, если так можно выразиться, приходится видеть плоско? – Pardon, – отвечает господин, производящий чудеса строго научным способом, то (с помощью дедукции) из правил евклидовой геометрии, то обобщая выводы энтомологических наблюдений, то добавляя фантазии – о, лишь капельку! – в правило больших чисел: господин Метерлинк, одним словом.

- Pardon, говорит он, сон вовсе не плоское воззрение, напротив, более чем вероятно, что он взят из четвертого измерения. (Не время ли это?)

Думаю, я нашел ответ на вопрос, почему господин Метерлинк так отстаивает четвертое измерение (а также пятое, шестое и т.д., различие чисто количественное, а совсем не качественное, ибо наше представление о четвертом как две капли воды похоже на представление о пятом, и т.д., то есть оно никакое). Это оттого, что он верит в большее и меньшее. Ему кажется, что будет уместнее поставить сон, который он считает явлением если не необычайным, то, по крайней мере, из ряда вон выходящим, под защиту цифры 4, а не 2 (цифра 3 в расчет не принимается, ибо выражает, несмотря на все свои мистические корни, трехмерный материальный мир, мир, зримый «суждением»), и только потому, что 4 ему кажется большим, то есть в определенной мере более возвышенным, чем 2. А представьте себе, что это предпочтение проявляет кто-то, кто, говоря о мире четырехмерном, объясняет его еще и как мир, где часть может быть больше целого!..

Зачем я все это пишу? Чтобы показать, как часто даже самого горячего желания мало для того, чтобы влиться в сверхъестественное.

Почему «четырёхмерное» должно быть чудеснее двухмерного, каким – тут мы опять передаем слово естествоиспытателям – представляется мир немым тварям? Сон как врата в четвертое измерение (что это такое)? Почему я должен признавать за ним «больше» необычайности, чем за двухмерным миром немых тварей, которые «там, где человек видит неподвижное тело, ощущают движущуюся плоскость»? Если мир чудесного четырехмерный, то и мир двухмерный таков же. Но выбросим цифры за борт. К какой бы из них мы ни прибегли, она каждый раз приведет нас все к тому же зыбкому континенту. Сон-символ? Сониносказание? Сон – выныривание подцензурного я? Может, то, а может, это. То ли, это ли – безразлично, ибо и то, и это является одинаково произвольным путешествием *в край до первородного греха*. А если такого определения сна вам не достаточно, оставьте надежду что-нибудь понять. Хотя что значит понять, когда речь идет о сне? Поэтому выразимся четко: Оставьте надежду на то, что когда-нибудь вам попадетсЯ летательный аппарат, с которого все видится так, как видят птицы, хотя (именно поэтому!) аппарат остается на земле.

Свобода падали и свобода ангелов. Свобода тех, кому отказали в выборе; свобода сплавляемых, летящих, возносящихся туда, куда им нельзя сплавляться, куда не направляться они не могут, куда они возносятся не по своей воле. Я никого не называю, не обозначаю, не выбираю. Я – горе, обретшее свободу, когда отказалось выбирать, – открываю объятия тростинкам на марше: тебе, с одного края бесконечности шагающему навстречу другому, начавшему свой путь с противоположной стороны, проходящем на тебя все больше по мере того, как вы

сближаетесь, и ты, не изумляясь, в конце концов сливаешься с ним, как с чем-то от тебя неотъемлемым, как со своей тенью, когда достигает апогея тот свет, которым вы поделитесь друг с другом; тебе, вскричавшему «я иду» скалам, окаймляющим реку, столь же недвижимую, как Мертвое море (весла влюбленных лодок зачмокали в вечерней тишине, точно поцелуи людоедских божков), и услышавшему от эха «оцепенев, я догоню тебя», и понимающе улыбнувшемуся в ответ улыбкой заговорщика; тебе, усиленно продирающемуся сквозь толпу ряженых, густую, пеструю, искренне и громогласно смеясь прямо в глазницы свежеевыкопанного черепа, который платит тебе безудержным весельем старых, уродливых, наконец-то нашедших клиента проституток; и тебе, тебе, что после некоторых колебаний все-таки стянул из корзинки старой цветочницы замусоленный букетик фиалок (даже не пармских), и его аромат – пока ты стремишься куда-то, и ноги твои окрылены неизвестно кем – судорожно вдыхают самые желанные девушки, постепенно соблазняемые капризными временами года и неожиданно сами для себя разрешающие все свои проблемы при помощи ядовитого раствора фосфора. Я раскрываю вам объятия, готовые вот-вот сомкнуться над этой ничем не смущенной свободой.

Стихи прорастают из перерубленных побегов, используя которые, чудеса седьмого дня – дня отдыха – хотели кощунственно соединиться с праздниками рабов. Мы, тростинки, не сопротивляемся. И именно потому наш взгляд упирается как раз в пограничный ров, что отделяет согласие от отрицания. Именно потому наш взгляд не видит различия между «да» и «нет», именно потому он стеклянный, как закрытый взгляд утопленников, которым не дано изумляться.

Я отрицаю, что я якобы отождествил сон, чудо, ясновидение, предчувствие с чудовищным, то есть с тем, что парадоксально примиряет самые резкие противоположности («да» и «нет») с чем-то таким, что по своим понятиям, представлениям и взглядам совершенно бесполо: мы же не среди орхидей. И если они кажутся нам пугающе чуждыми, то это не из-за их наряда; это результат нашего усеченного зрения. Поэтому и только поэтому чудесное, когда бы наше сознание ни споткнулось о него (происходит это лишь иногда и изредка, ибо, будь оно непрерывным и цельным, оно перестало бы быть чудесным, превратилось бы в норму, а это означало бы, что мы с самого своего начала причастны Целому, то есть блаженны, иначе говоря, недостижимы для первородного греха, что было бы абсурдно), кажется по крайней мере странным – или даже чудовищно парадоксальным – и внутренне столь противоречивым, что «разум» приходит в ужас, если его не отрицает. Это выглядит так, словно в нем кипят «да» и «нет» столь равноценные, что они незаметно нейтрализуют друг друга. Это «пекло-рай»¹⁵, это нечто вроде ужасающего кармана фокусника, вроде этого комичного, но вызывающего подозрительное беспокойство выворачивания наизнанку внутренностей ярмарочного шарлатана.

¹⁵ В сущности, чудесное – которое есть не что иное, как на мгновение открывшее себя постоянное сосуществование «бодствования» и «сна» (открывшее себя через сознание, на которое снизошла милость) – так же просто, как бумажная детская игрушка, с какой играют во всем хорошо известное «небо, пекло, рай, куда хочешь душу пошлай» (пекло-рай можно легко переделать также в «кораблик», «шляпу» и т.п.), и какая своей примитивной сложностью всегда приводила меня в ужас, напоминая некий зародыш неодолимого лабиринта. Дети осложняют все тем, что «рай», возникающий простым перемещением координат ада, с которым он тождествен размером и формой, оставляют белым, а «ад» красят каким-нибудь цветным карандашом. Игра поэтому удивительным образом сочетает в себе отрицание и утверждение и кажется поистине чем-то нерукотворным (прим. автора).

Как бы то ни было, каждый, на кого *наваливался* сон, знаком с интуицией, которая настолько убедительна, что в убедительности не уступает адекватной мысли, то есть мысли правдивой, мысли, автоматически трансформирующейся в акт, мысли-акту – и завеса рвется. Безразлично, какая. Безразлично, между чем и чем: ясно только, что это завеса, то есть разграничительный признак, настолько же условно материальный, насколько безусловно виртуальный и при этом надежно изолирующий. И если удар этого интуитивного познания менее ощутим во сне спящих, который – с физиологической точки зрения – мозговую функцию суждения если не отключает полностью, то по крайней мере ослабляет, то во снах бодрствующих он очень силен. Ибо кто станет отрицать, что мы видим сны, бодрствуя. Не только «мечтатели» и «поэты»; каждый. А сон бодрствующего имеет все признаки сна спящего. Он так же быстр, так же мимолетен, так же сопротивляется нормальной памяти, но при этом так же интенсивен и по сути своей даже более убедителен, чем сон спящего, поскольку вторгается в полностью включенное сознание и проявляется не только сам по себе, но также и в совокупности с видением «сознания», то есть видением «контролируемого мира». К этой соотносимости (или скорее тождественности) сна спящего и сна бодрствующего я вернусь чуть позже. А пока несколько слов о всеобщем характере этого второго зрения во время бодрствования – не отождествлять со «вторым зрением» пророческим! – о характере, со следующим определением которого – о, это определение! – ты, читатель, не можешь не согласиться, если не хочешь беззастенчиво лгать самому себе: все свидетельствует за то, будто нам было послано внезапное озарение, которое позволило бросить короткий взгляд на край, откуда мы были изгнаны – хотя и с разной степенью непреклонности и с разнящимися по степени скупости разрешениями на временные краткие возвращения, – из края, который дополняет мир; взглянуть на Целое, бросить один общий взгляд, вовсе не претендующий на интерпретацию, на Целое, насквозь ясное и отчетливое, «вовсе ничем не изумляющее», то есть на рай. Если допустить, что существуют люди, которые, говоря о сне (грезам, чудесах, предчувствиях и т.п.), не могут не говорить одновременно и о четвертом измерении, то лучше бы им, наверное, считать грезы, чудеса, предчувствия непосредственно четвертым измерением, а не только воротами в него. Но мы уже сказали, что евклидова или любая иная геометрия нас не очень-то занимают; они – вообще не наша забота. Потому мы и внушаем читателю, чтобы сну, интерпретированному как четвертое измерение, он не придавал большего значения, чем следует.

Если читатель еще помнит, в начале настоящего памфлета мы объявили о намерении представить поэтику не только данной книги, но и всех наших забытых работ – прошлых и будущих. Мы не отклонились и не отклоняемся от этого намерения.

Мы назвали эту книгу «Сонником»¹⁶. Заметим для начала, что мы рассматриваем это слово не в его привычном свете. Наш сонник снов не толкует – он их сохраняет; это – гербарий снов. Наверное, он – нечто более высокое, или, по крайней мере, хочет таковым быть. Позже мы увидим, удалось ли ему это.

Здесь настало время поговорить о себе. Ошибается тот, кто считает, что мы несколько запоздали со своими откровениями. К подозрениям склонны даже

¹⁶ Название было изменено позже. Но и после этого она осталась сонником, сонником в том смысле, как мы его трактуем (прим. автора).

неплохие люди: при виде местоимения «я» они удрученно покачивают головой, приговаривая: «Ну вот, опять он тут!» Это потому, что они находятся во власти предрассудка, будто самый прямолинейный вывод как раз и есть вывод единственно верный. Это одно из распространеннейших заблуждений. Думать, что тот, кто говорит в первом лице, говорит о себе, значит одновременно недодумывать и думать слишком далеко вперед: Те, которые хотя бы пытались следовать за моей мыслью, обнаружили уже, что я использую местоимение первого лица единственного числа прежде всего тогда, когда говорю, скажем, об ангелах; поверят ли они мне, если я добавлю, что знаю многих, кто, говоря об ангелах, говорит в основном о себе? Итак, пришло время сказать о себе правду. Это неприлично. Многие на нашем месте сделали бы то же самое, они бы сделали и в десять раз больше – да и как еще объехать собственную поэтику, если не на той кобыле, что являет собой хромое, но упорное я? – однако использовали бы синтаксические и иные уловки, чтобы ничего никому не примерещилось, чтобы никто ничего не сказал. Человеку, связанному по рукам и ногам, наивно полагать, что ему удастся смягчить читателей и критиков – читатели и критики: это почти плеоназм, – тем, что он – в цепях – станет притворяться, будто кокетничает с безличным. Если я не ошибаюсь, у меня репутация моралиста. Если нет, то тем хуже, ибо она была бы заслуженной. Но позвольте досказать: иметь репутацию моралиста – это то же самое, что иметь репутацию педанта. А быть педантом значит быть музыкантом, играющим фальшиво с таким упорством, что вас не потерпит ни один оркестр. Правильно играть в ансамбле означает выполнять определенный минимум, которым как раз и является игра в общем ключе. Оркестр составляют те, кто расслышал общий «ключ своей эпохи» и для кого важно именно в этом ключе постичь собственную партитуру. Но не приведи меня бог бросить отдельным участникам ансамбля, столь достойного презрения, упрек, который несомненно заслужил весь ансамбль как таковой. Надеюсь, что каждому из участников время от времени доводится взять фальшивую ноту. Именно что надеюсь: ибо фальшь неизбежна, если слушатель, а главное музыкант, хочет выпутаться из лжи – и это существенно, – словно «эпоха» на самом деле хоть чем-то отличается от рубашки, которая пачкается трижды в неделю. Все, что важно, вне «эпохи». Так называемые ценности – ценности любого рода – представляют собой душную халупу, которая хороша только на зиму. Взять фальшивую ноту – и это так естественно! – это то же самое, что разбить оконное стекло. Ведь даже мерзляку иногда бывает нужно, позарез нужно выйти на мороз. Очутиться там, где вместо сыгравшихся музыкантов он услышит произведения, исполняющиеся, быть может, фальшиво (кто знает!), но имеющие хотя бы то преимущество, что они штучные. Я не хвастаюсь, будто никто, кроме меня, не умеет фальшивить. Фальшивит множество людей – причем частенько. Поэтов много – и поэтическим грезам предаются не только люди, – так почему же они стыдятся, взяв фальшивую ноту, вместо того чтобы, напротив, гордиться этим? Почему они стыдятся, случись им оказаться моралистами, то есть случись им *напомнить об ответственности* и напоминанием этим обратить людей в соляные столпы, сотворить из них соляные столпы? Теперь я поведу речь об определении этой ответственности. Ясно, что художник не имеет права согласиться на то, чтобы быть ответственным перед коллективами – и пусть никто не думает, что это у меня от Юлиана Бенды, я говорю так, ибо я в этом убежден, и именно потому, что я в этом убежден, теперь подобным же образом станет думать любой, – такими коллективами, как родина, класс, группа, церковь, синди-

каты и политические партии. Горько, что приходится напоминать эту неколебимую истину. Он обязан отказаться быть ответственным перед всем тем, что с этим прямо или косвенно связано: справедливостью, социальной совестью и правдой, любовью к ближнему, самаритянским фетишизмом, прогрессом и енгеникой, всевозможными реформами и революциями, цивилизацией, наукой, искусством и народным образованием. Если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют нечаянно – да, нечаянно! – предметы столь униженные и презренные, как: дождь, перебирающий четки на крыше нашего дворового сарая; зеленая полоса, задержавшаяся после захода солнца на западном краю неба несколько дольше, чем предписывает ей атавистическая и ставшая машинальной человеческая память; ребенок, однажды на наших глазах в полпятого пополудни переходивший безлюдную деревенскую площадь, трубя при этом в садовую лейку; писк, возмутительным образом выбившийся на рассвете из общего бесхребетного птичьего хора; зеленые, как трава, жалюзи прокаженного домика в южнофранцузском городке, соскочившие с одной петли, и на них видна четкая черная полоса, бессмысленно намалеванная краской (о, эта мечтательность!); слово *Caillaux*¹⁷, написанное углем на обороте рекламного щита в трехстах метрах от станции Ле Лиоран, надпись, бросившаяся нам в глаза, когда мы, прогуливаясь, подняли нос от Монтеня, которого перед тем читали (эссе о жестокости); ящик на вокзальном перроне, ожидающий поезда, но в таком отдалении от остального товара, что в этом таился некий умысел, и если бы вы посвятили меня в его суть, я был бы вам безмерно благодарен, ибо одновременно разъяснилось бы и все остальное, что не дает мне покоя (*lasciate ogni speranza*¹⁸); итак, я утверждаю: если поэт не в силах сотворить то, что сотворяют эти презренные и униженные предметы (вы действительно думаете, что Эйфелева башня – самое высокое парижское сооружение?; неподалеку от монترейских ворот я знаю один выкрашенный оливковой краской домик с маленьким кафе; трамвайные пути проходят от него столь близко, что 25 марта 1926 года я пережил там несколько секунд такого ужаса – и это оливковое за моей спиной! – что разглядел все походы Александра, да еще в подробностях...); итак, повторяю: если он неспособен на то, на что способны эти презренные и униженные предметы и еще множество иных, которые – в сравнении с Эйфелевой башней или с важностью клятвопреступного священника, служащего пасхальную мессу, – кажутся еще менее значительными, то пускай он посчитает для себя великой честью, когда кто-нибудь предложит ему ответственную должность – компостировать билеты в подземке! Ибо если он не в силах сотворить то, что так легко и естественно – точно ненароком! – удастся этим клавишам бог весть какого органа, которых случайно и неизбежно касаются пальцы бог знает какого рассеянного и сосредоточенного музыканта, то пусть он осознает, что все прочее под силу кому угодно, и кто угодно превзойдет его в этом, так что ему нечего и пытаться: Ты расплакался? Слезы – бисер, действительно предназначенный свиньям. Последний актеришка из бродячего театра, мечтающий лишь о том, чтобы служанка на его следующей квартире была посговорчивее, превзойдет его. Удалось ли тебе так вдохновенно описать человеческое великодушие, что и в грудь подлеца ворвался некий очистительный вихрь? Забытый государственный деятель, удвоивший территорию своей страны, заслуживший неблагодарность, отправленный

¹⁷ Щебень (фр.).

¹⁸ Оставь надежду (ит.).

в отставку из-за интриг и все же не ставящий это в вину своим политическим противникам, превзойдет тебя, едва обмакнув перо в чернила... а речи над его гробом, какая это золотая жила для суетливых выскочек, но если задуматься, то золото это добывается проходимцами в засохших навозных кучах... Ни то, ни другое? Тогда, поэт, ты, наверное, горишь честолюбием до такой степени покоровьи растрогать человеческие души, чтобы девушка, читающая под цветущей яблоней последний роман господина Моруа, оторвалась от книги и принялась искать глазами описанный тобой кусочек горизонта (прислушайся-ка к кукушке и перепелкиному свиристению), куда унылый ее взгляд, настоенный на целомудрии, вонзится, как палец в масло? Послушай: в одной деревеньке департамента Верхняя Луара я знаю семидесятилетнюю старушку, высохшую, как мушмула. Когда колокол звонит к молитве, она устраивается перед своим домиком с подушечкой для плетения кружев и принимается так стучать коклюшками, что, если закрыть глаза, то можно подумать, будто это ангелы играют в кости. Румяный закат. Бим-бом; мир да покой; длинные вереницы коров, бредущих с пастбищ – завтра их погонят на бойню, – путник взошел на вершину соседнего с деревушкой холма, усталый, он страдал от голода и жажды, иначе говоря: не любая чушь была ему не чужда – и узрел эту идиллию. Какие стансы Вергилия отважились бы соперничать с нею. Путник тает, тает; что бы ты там ни высидел, оно никогда не растрогает его так, как эта естественная и бесхитростная олеография... Загляни-ка лучше в кабачок – Главная улица, дом пять, – где ждут тебя ветчина с яйцами и кувшин местного вина... Ты, верно, специалист по производству отзвуков психических головокружений? Да уж, от суповой кастрюли, в которой ты мешаешь лаву из пропастей, зияющих меж гор, уже покоренных «духом», и Гималаями, «которые еще предстоит штурмовать», тянет смрадом. Какая жалость, право! Вчера меня остановила госпожа Робер, сказавшая: «Я пригласила пять гостей, но у нас лишь четыре стула. Как мне быть?» Не знаю, госпожа Робер, как вам быть, но я вас поздравляю. Благодаря благословенной вашей беспомощности я столкнулся с проблемой более головокружительной, чем запутаннейшая антиципационная теория Уэллса. Поэту, который спекулирует на неустрашимом героизме и его чувственных коррелятах, я отвечаю: Линдберг. Тому, кто думает, будто показывает тебе бог знает какое далекое ничто, когда прижимает твой нос к телескопическому окуляру, я привожу в пример ярмарочного звездочета с его куклой из молочного стекла... Головокружительная любовь? Цветущий конский каштан; скамейка; полнолуние, пока еще робкое; десять ударов с башни собора; шаги одинокого прохожего где-то вдали; он приближается, он незамеченный подошел к этому конскому каштану как раз тогда, когда раздалось «а-ах!» – одно, непреложное, неоплатное и неподкупное, бесстыдное и мученическое, вместе «ой» и «аллилуйя» – «а-ах!», от которого Песнь Песней убегает без оглядки, как Давид от Голиафа, тот Давид, который, в отличие от библейского, не стал бы мошенничать. «А-ах!», которых в майские ночи, как хрущей, и которые безмерно ценнее, чем твоя трусливая эротика.

Вопрос, который я задаю, пугающе прост: Ты способен, ты готов, ты можешь, ты настолько прост, ты настолько мертв, ты настолько неистов, слеп и сокрушитель, чтобы совершить то, на что способна длинная череда этих вещей, униженных, презренных и незначительных, а именно: обратить человека в соляной столп? Соляной столп: выражение, на котором я настаиваю. – Сможешь? Ладно! Не умеешь? Тогда все напрасно. Уходи... но давайте все же будем вежливы.

Для ясности нужно прежде всего сказать следующее: вкус у меня не столь одряхлел, чтобы я мог, хотя бы даже подсознательно, намекать на связь между соляным столпом и выражением «соль земли». «Соль земли» и Величка интересуют меня в той же мере, что Страсбург и гусиный паштет, Швеция и спички без фосфора, Горжице и тамошные игрушки. Соль земли можно добывать всюду, где люди плачут, то есть на каждом миллиметре земной поверхности, хотя плач меня тоже не интересует. (Слезы – бисер, действительно предназначенный свиньям.) Встаньте, пожалуйста, за мной, вплотную друг за другом и ради большей безопасности положите ладонь на плечо того, кто стоит впереди. Шагом марш!

На краю этого подземного коридора горят две лампы: одна пыжится, как угасающая горелка Ауэра, чей спесивый свет меркнет через десять метров под натиском тьмы, словно доверие разодетого Сганареля, встретившееся с причесанной хитростью неверной жены (для зрителя этим все кончается, для дурака Сганареля «ничего не случилось»), другая же похожа на воровской фонарик: он не бахвалится, но светит далеко. Одна – это свет того представления, которое обнажает сияющий факел мысли, или же, говоря точнее, чадаящая лучина, при свете другой являются видения, столь режущие глаз, что они не поддаются никакой интерпретации. Это видение, четко и ясно сообщающее то, что должно быть сообщено, но – при помощи знаков, взбунтовавшихся против шарлатанов, сплетников, филантропов и философских обманщиков – а каждый из нас или то, или другое, – взбунтовавшихся так, что без ключа невозможно разобраться в этой чуждой нам азбуке, если только не воспользоваться симпатическими чернилами, которые проявят эту угловатую тайнопись. Ключ или симпатические чернила – к чему бы мы ни прибегли, все равно это будет нечто вроде загадочного электрического разряда, который не озарил тьму, но разорвал непроницаемую стихию и обнажил ее *качество* и внутреннюю структуру. Разорвал и обнажил на стотысячную долю секунды, но разряд этот оказался столь ошеломляющим, что когда над ним вновь сомкнулась мертвая секунда, что когда над ним вновь заструился задумчивый поток непрерывного времени, он стал вечностью: вечностью не в смысле длительности, но по интенсивности убедительности, которая сметает все возражения, как катастрофа сметает страх. Перед лицом зрелища столь ужаснопрекрасного опустошенный смертный лишен выбора. Надеюсь, вы не представляете его себе ни растроганным, ни растерянным; и он не рисуется вам сидящим за столом в свете «лампы ученого» с ладонями, поднесенными ко лбу; и вы не посылаете к нему внучат (топ-топ к бабушке из детской, в долгополых рубашонках, с развевающимися кудряшками и сияющими, точно звездочки, небесно-голубыми глазенками), и не предлагаете ему задумчиво гладить их головки и размышлять над ними о бесконечной смене поколений, бальзаме для уверенного в своей брэнности индивида; и не делаете из него садовника, утешающегося (золотушным) потомством, которому он по-нищенски, то есть великодушно, завещает плоды, которые сам уже не соберет; или астронома, этакого трудолюбивого мошенника, пытающегося убедить себя и нас, будто бесконечность можно подменить некими манипуляциями с несчетным количеством километров; или дряхлого и совершенно выжившего из ума болвана, который пытается добиться того же при помощи трюка с интерференцией между так называемыми геологическими эпохами... Действительно, опустошенный смертный лишен выбора: ему остается только обратиться в соляной столп. Вот каково действие ужаса, который внушает милостивое цельное зрение, ужа-

са, подобного вырванному жалю пустившей его в ход пчелы – и вырванному именно потому, что пчела пустила его в ход. Вот каково действие этого не подвластного ни единому силомеру толчка, энергетический эквивалент которого был вначале едва ли не равен тому, что возникает при выпадении волоска, но зато потом при помощи системы зубчатых колес, рычагов и клиньев он, один из избранных, оказался перенесенным к пределу, откуда достаточно уже всего лишь прыжка, чтобы петли, на которых держится космос, расшатались, и он сам принялся бы вращаться – все быстрее и алчнее. Во что, кроме соляного столпа, можно обратиться при виде муравьиной силенки, перед которой цепенеет высокогорная мускулатура Голиафа? Во что, кроме соляного столпа, можно обратиться перед дерзновением краски, звука, *словечка*, земная реальность которого столь же невероятно непропорциональна оккультной его силе, как агуканье грудного младенца – буре, ломающей пирамиды (если допустить, что оно каким-то чудом внезапно ее заглушило)? В соляной столп; но вовсе не из-за одного лишь ужаса, вызванного захватывающей дух непропорциональностью между причиной и следствием, но также из-за ликующего ужаса, из-за ужаса узреть свои корни, из-за ужаса, который внушает милостивое цельное зрение. Соляной столп: словно душа, которой было суждено забыть, что она узник материи; и словно материя, которой было дано забыть, что ее узник сильнее и великодушнее, чем она сама. Соляной столп: двоякость, растопленная Дыханием и после вновь отлитая в творение, ставшее адекватным отражением духа, с которым она, возможно, враждовала, от которого, возможно, была отчуждена. Соляной столп! Многое единое и единая множественность, полнолуние, наконец-то соскользнувшее в баню, откуда оно когда-то появилось, и бессознательно познавшее свою суть. Соляной столп! Атом, встретившийся со своей матерью и тут же разметавший ее в несчетные созвездия, частицы которых еще бессознательнее, чем был когда-то он сам.

Ты способен, ты готов, ты можешь, ты настолько прост, ты настолько мертв, ты настолько неистов, слеп и сокрушитель, чтобы совершить то, на что способны эти предметы, униженные, презренные и незначительные, которые тебя, погляди-ка, вон там, на опушке рощи, куда долетают только редкие, хотя и тяжелые капли перепелкиного свиристения, там, где пылкость сока доискалась до возможности одновременно произносить сладкие речи и стекать деловитым потоком, там, где роса становится бисером, этой окаменевшей радугой, и где накопленная музыка прорастает, цветет и благоухает в прекрасных стройных стволах и невероятно естественных искусственных цветах, названия которых отлетают прочь вместе с последним вздохом умирающего, вздохом, от коего даже невидимые полосы радужного спектра обретают вдруг цвета, – итак, говорю я: подобен ли ты этим вещам, которые на опушке рощи вдруг столкнули тебя с вызубренной орбиты вокруг нашего солнца, которое только-только неохотно приняло тебя за своего, и зашвырнули в эти безнадежно многообещающие революции, где «быть» означает «сдаться»?

Если тебе удастся то, что стольким рабам – и людей, и вещей – удалось просто потому, что они по каким-то причинам задержались там, откуда «по правилам» давно уже должны были исчезнуть, что попались тебе на глаза именно тогда, когда глаза эти пытались вызвать их к жизни с помощью некоей таинственной оптики, с помощью неких давних воспоминаний об истинах – равно бесспорных и никуда не годных... если и тебе удастся достичь этого ненужного единения, которое тут же рассыпается невидимым прахом, оставляя, однако, по

себе несмываемые и горькие свидетельства, если и ты сумеешь добиться этой игры воспоминаний, которые, наверное, и впрямь есть Божий шепот, то я рад за тебя.

Рядом с этой позитивной тщетой все остальное – только хорошее и полезное. Слово искусство – одно из тех редких слов, которые из-за особенностей своей пищеварительной системы я после обеда стараюсь не произносить. Да и в другое время, если мне надо его произнести, приходится принимать определенные меры – иначе произойдет катастрофа. Меры эти вот каковы – следует повторить сто и один раз, что, произнося «искусство», я, собственно, всего лишь использую не вполне равноценный синоним иного слова: искусство – это эффект, который производит все то, что ввергает нас в тщетное, сахарское и возрождающее воспоминание, длящееся секунду и вбирающее в себя вечность. Лишь после такого ответа на *question préalable*¹⁹ я в силах говорить об Искусстве с большой буквы И. Вставьте разные Искусства в рамочку, и воздадим должное Искусствам, которые 1) являются оазисами в повседневной жизни и позволяют в должной мере облагораживать и омыwać человеческую душу; 2) которые дают представление о высотах, куда сумеет вознестись человек, посвященный – разумеется, избранный – разумеется, но все же представитель рода человеческого, один из нас – вон, поглядите на него! – тот, кем этот род может гордиться, иначе говоря – гордиться самим собой; 3) которые теми или иными, но всегда дозволенными законом фокусами могут снять чары с того, что являет собой всего лишь единичный случай, и тем ярче и великолепно осветить сущность творчества; 4) которые интуитивно обнаруживают в материи, простой материи, представьте себе, живой принцип и таким образом *по меньшей мере* удваивают интенсивность космической эйфории; 5) которые возводят человека на те крутые вершины, где уже нет никаких препятствий между ним и живительными лучами неугасимого божьего солнца, где, иными словами, шафран не дороже кормовой соли; 6) которые служат наслаждением и молитвой, просьбой и ее удовлетворением, слабостью и поддержкой, неразрывным всеобщим объединением – и все это благодаря вдохновению, которое направляет мысль к единственному воистину живительному источнику, и благодаря мысли, которая управляет вдохновением, следя, чтобы эта шавка не забежала туда, выбраться откуда можно было бы только прыжком – стремительным, напрасным и хорошо если не смертельным.

Воздадим должное этим учебным пособиям института по улучшению человеческой расы, выстроимся шпалерой, чтобы они могли пройти так, как подобает особам высокого звания, и вернемся.

И прежде всего дадим отпор клевете: Нам кричат: во-первых, вы говорите нелепости, а во-вторых, говорите их самонадеянно. Нелепости – пусть, но самонадеянно ли? Разве заслужил я столь позорные упреки? Если мы подходим (подходим!) к искусству с такими исключительно строгими мерками (я вновь пишу «искусство»; но вежливо отсылаю к примечанию выше, которое меня оправдывает, оправдывает, оправдывает в большей степени, чем это необходимо), то помните: делаем мы это единственно потому, что считаем его *потенциально* способным возвести, уничтожить и возродить так же, как удастся подобное униженным, незначительным, презренным предметам, которые даже во сне не мечтали быть искусством. Напротив, мы скромны и покорны. Мы говорим

¹⁹ Предварительный вопрос (фр.).

только, что лишь тогда преклоним колени перед картиной, стихами, музыкой²⁰, когда они добьются – хотя бы словом, хотя бы тоном – того же, чего добиваются световые экспозиции снов и воспоминаний.

И добавлю: меня бы опечалило, реши кто-нибудь, будто все, что я уже написал, пишу или напишу, – это только лишь хитроумный, лукавый и завуалированный маневр, имеющий целью проникновение с заднего крыльца в классификацию каких-нибудь «измов». Господи, да вовсе нет! Для меня же не существует никакой иерархии. Хоть на куски меня режьте, но я, пока способен буду слово вымолвить, так и не объясню... не объясню, почему, к примеру, сюрреализм будит ассоциативное воображение (смотри примечание) успешнее, чем импрессионизм, романтизм или кубизм... Лучше, пожалуй, я без утаек скажу вот что: Если мы заявляем, например, что Песни Малдорора (По, Рембо, чтобы не говорить о живых) представляют собой некий максимально заряженный аккумулятор эвокативных элементов, световых экспозиций снов и воспоминаний, то мы совершенно не имеем в виду, будто произведения, созданные на основании иных мысленных, эстетических, чувственных посылок, этих элементов роковым образом лишены. (Слова, которые я сейчас употребляю, вызывают у меня дурноту, но – в конце концов – наступают в жизни такие минуты, когда нужно любой ценой объясниться – с равными себе.) Допустим, что Лотремон может очень часто превращать господина X в соляной столп, что он наделает из него максимум соляных столпов; но это вовсе не означает, что господам Моне, Дега, Ламартину, Стендалю, Флоберу, Виктору Гюго и Полю Верлену; господам Пикассо, де Сегонзаку, господину Полю Валери; господам Карелу Томану, Дуриху и Карелу Чапеку; господам Рутте и Тайге; господину Яну Врбе и etc., etc. (эта номенклатура безумна, но поверьте, что системы в ней нет); господам Отокару Фишеру и Тееру; господину Декарту; пьесам из театра Амбигю; некоторым местам из ревю Казино де Пари; итальянским шарманкам; господам Масканьи, Пуччини, Витезславу Новаку и Кржичеку; барышне Жозефине Бейкер; господину Линдбергу, статуэткам и олеографиям из Сент-Сюльпис; господину Мухе, господам Майолю и Гашлеру; обоим господам Бурианам; господам Восковцу, Вериху и Гоффмейстеру – короче говоря: это вовсе не означает, что им не под силу тоже наделать из господина X соляных столпов. Вообще-то, они легко с этим справятся, хотя, наверное, господин X (о котором я предполагаю, что Песни Малдорора, По, Рембо и подобные им наделают из него максимум соляных столпов) был настроен прежде всего на ключ Лотремон и Ко. Ибо дух дует туда, куда захочет, и нечего удивляться, если он сильнее надул парус ярмарочного певца, чем парус Таможенника Руссо. Я и вправду не знаю лучшего, чем приве-

²⁰ Произведения изобразительного искусства в сравнении с произведениями словесными и музыкальными по этой причине одновременно и привилегированные, и какие-то отверженные. Ведь произведения изобразительного искусства воспринимаются целиком. Если они содержат элемент, называемый нами для удобства элементом эвокативным, то мы замечаем его с первого взгляда, между тем как в стихах или музыке может быть лишь слово и его позиция, лишь тон и его гармоническое дополнение, развивающиеся в протяженности; эвокативный же элемент может появиться только после многочисленных страниц вербальной и музыкальной пустыни. Однако, с другой стороны, поэт и музыкант может готовить читателя или слушателя к кульминации, а художнику этого не дано. Если он творит не потому, что его посетил Бог, то его произведение никому не нужно; поэт же и музыкант, начав писать, могут надеяться, что Бог их еще навестит, но только позже... А художник или начал именно в тот момент, когда грянул гром, или начал зря. Поэт и музыкант могут верить в сгущающиеся тучи, в то, что гром еще грянет. Им дан срок; художнику – нет (прим. автора).

денные имена (добавить к ним еще тысячу не составило бы для меня труда), доказательств того, что я не признаю никакого первенства, основанного на кредо эстетическом, философском и т.п. В плане генетическом никакого. Но вот что касается прибыли (прибыли в соляных столпах), что касается практики, то дело обстоит несколько иначе.

Ибо я уже сказал, что каждому случается взять фальшивую ноту; и тому, кто добросовестно старается играть в общем оркестровом ключе; и даже тому, кто нарочно хочет играть фальшиво, как господин доктор Тайге. Надо только учитывать волю тех, кого приносят в жертву. Но и у тех, кто жертвами не является и являться не может, может все-таки быть воля стать ими. Такая воля не противится желанию превратиться в инструмент. Но намерение это не воля. Выбора нет; *а потому также нет противоречия в высказывании, что можно достичь чего-либо, не желая этого.* Можно остановиться посреди мистерии и тут же позабыть о ней: Милость. Можно ходить по свекольным полям, не догадываясь о близости моря, и обнаружить его. Многие, находясь на пути в Еммаус и осознавая это, думают о просвещении лишь как о желанной добавке к удовольствиям, ради которых они туда собрались; может быть, такой человек станет даже просвещеннее, чем тот, вся воля которого опирается на мистику, – ибо, повторяю, милость не соответствует заслугам – но для тех, кто сердцем с Ним, и неудача воссияет светом вдвое светлее, чем успех для тех первых. Имманентный бог, хотя он и распят, не отказывается от надежды позже все-таки достичь триумфа бога трансцендентного. В этой неиссякающей надежде – и, следовательно, уверенности – заключается его всемогущество. Те, кто ищет новаторский фальшивый тон (а самый глубинный смысл «искусства» для нас всех, для одних – осознанно, для других – никоим образом, это вынесение на поверхность забытых снов, чтобы хоть на мгновение могли вновь расцвести те перерубленные побеги, которыми мы до проклятия и на заре своей жизни касались Великого Господа), те поступят лучше, если доверятся другим, чья воля быть инструментами так напряжена, что они отказываются льстить хоть сколько-нибудь банальным удовольствиям нашей куцей жизни. Даже в хаосе разбушевавшихся стихий – а это нормальное состояние космоса – надеяться, что до нас доберется Божий вестник, весьма рискованно; однако еще рискованнее надеяться на это в выстраданные минуты покоя, когда буря улеглась и когда у Господа, вероятнее всего, сиеста; а вот из смятения, темноты, из всего того, чего до ужаса боится контроль над нашими органами чувств, молния ударит скорее, чем с высот, где сияет солнце духа, то есть мысль, артикулирующая, как деревянный паук, красота, то есть воскресная прическа девушки, которая будет через минуту изнасилована, добро, то есть леопард, переваривающий свой обед, ясность, то есть мгновение перед закатом, мудрость, то есть предательская гармония, когда вот-вот наступит неизбежный *dies irae*²¹; чем с высот, где сияют солнца, выстраданные в минуты человеческого малодушия.

Моя поэтика исходит из нескольких кажущихся парадоксов: просвещение приходит из тьмы, мудрость – от безрассудных, отдохнуть можно лишь среди бурлящих волн, если ты голоден, садись за пустой стол, а если хочешь заглянуть в ближайшую обитель бесконечности, доверься тьме. А моему поэтическому честолюбию хватило бы, если бы после долгих-предолгих километров пускай лунатического бреда, пускай циничного богохульства, злых шуток, на-

²¹ День гнева (лат.).

глого бахвальства, чарующих мелодий, мелодичных чар, сватоплуковской мудрости, соломоновой сообразительности, аполлоновой горячности, дионисийской замороженности, магической проникновенности я написал всякий раз – случайно! – одно слово и сумел ему – невольно – подготовить такое окружение, такой смысл, такой звук и музыку, дабы тебе, столкнувшемуся с ним, была явлена изумляющая и объемная множественность, дабы заскрежетало столько ржавых неповоротливых замков, дабы запылало столько таинственных пожаров, сколько удалось устроить той жестянке на дворе, которая ослепила тебя нынче утром, когда ты открывал ставни; как тому козленку на берегу реки Крез, который, хотя и с опаской, все время словно нарочно держался подальше от матери; как тому ботинку со шнурком, ботинку с разинутой пастью, который я заметил из окна поезда на куче шлака за Сен-Дени; как тому настойчивому звуку валторны, которым лесничий в бехинском заказнике созывал много лет назад своих косуль к кормушке.

Проблема, если так можно выразиться, техническая, проблема, о которой идет здесь речь, хотя и ясна, но сложна. В сущности, я говорю о том, как *закрепить* вербально сны и воспоминания. И не столько даже о том, как их закрепить, сколько о том, как сделать так, чтобы они дошли до максимального количества «посторонних», то есть тех, у кого нет никакого собственного опыта подобных снов и воспоминаний. Короче говоря, речь идет о закреплении для тебя и объективизации для других. Нет сомнения, что литературная техника – вольно или невольно – стремится лишь выработать способ передать видения, сны и воспоминания так, чтобы они сохранили как можно больше своей «эвокативной» сущности. Нет поэта, достойного этого звания, который не был бы совершенно уверен, что может стать спасителем, или – если без громких слов – освободителем, советчиком, помощником, дельным мастеровым, то есть кем-то совершенно незаменимым, но стать он им сможет, лишь выполнив следующее условие: найти способ, как передать, как донести до других свои видения, свои сны, свои воспоминания. (Это перечисление вовсе не конечно; пожалуйста, не придавайте никакого оттенка сентиментальности этим трем словам. Нет ничего проще, чем обобщить их в выражении «поэтический опыт». Лишь в технических целях мы прибегли к словесной дифференциации вещи, в сущности единой.) Первое затруднение, с которым мы сталкиваемся, это затруднение мнемотехническое. Каждый знает, как коротка память на сны. Менее явна краткость памяти на *эвокативные* воспоминания и видения. Менее явная она потому, что мы принимаем регистрируемые воспоминания за бодрствование, за нечто, существенно от сна отличающееся. Но параллелизм между навязчивой долговечностью некоторых снов и некоторых воспоминаний свидетельствует, как мне кажется – не говоря уже о свидетельстве иного рода, о котором мы собираемся сказать позже, – о том, что между сном и эвокативным воспоминанием разницы нет. Обращусь к примерам: Каждый читатель – я в этом уверен – сумеет на их основании вспомнить аналогичные примеры из собственного опыта, доказательные в том же смысле (или в тех же смыслах).

Я испытал на себе метод маркиза д'Эрве де Сен-Дени²² и обнаружил –

²² Маркиз д'Эрве де Сен-Дени разработал особую систему для воспитания памяти на сны, систему сложную, требующую большого физического напряжения и долгого изматывающего тренинга: Маркиз д'Эрве велел будить себя от первого сна сто шестьдесят раз – причем в разные периоды жизни – целых 34 ночи подряд. Метерлинк не стал подвергать себя такой пытке. Он рекомендует способ, видимо, менее совершенный по своим результатам, но все же совсем не

признаю это откровенно, – что он себя оправдывает: Моя память на сны, которой до тех пор вообще не существовало, значительно укрепилась. Я, у которого после пробуждения прежде оставалось лишь «осознание», что я видел «очень живой» сон, но осознание, так сказать, рамочное – выражение, кстати, крайне уместное, ибо все, что оставалось от сна, действительно напоминало раму, и хотя я знал, что изначально она пустой не была, что из нее была вырезана картина, однако же о самой картине я не имел ни малейшего представления, и в памяти в лучшем случае сохранялось только несколько фрагментов сна, которые, впрочем, вскоре испарялись без остатка – обычно за то время, пока я одевался, – так вот, я сумел достичь, несколько упростив метод д’Эрве, действительно значительного закрепления воспоминаний о сне. Но когда я более глубоко задумался о тренинге, то кое-какие обстоятельства исподволь навели меня на подозрения – а не является ли все это лишь грубым самообманом? Ведь я уже давно (то есть до того, как начал упражняться в этом мнемотехническом методе) замечал, что это испарение фрагментов сна начиналось тем, что данные фрагменты начинали произвольно сгущаться, словно выстраиваясь в некую логическую цепочку, которой сам сон был явно лишен. Образование этих цепочек вело к парадоксальному результату, а именно: сон, или же обрывки сна, складывались перед самым своим исчезновением в более компактное целое, чем непосредственно после пробуждения. Итак, факт, что память, вероятно, ослабевала (чтобы позже и вовсе отказать), создавая образы тем более цельные, логичные, убедительные, чем ближе было угасание, представлялся чем-то столь парадоксальным, что неизбежно напрашивался вывод: память эта ложная, хотя на сне и основывающаяся, но творящая за пределами его области – разумеется, лишь до тех пор, пока не выскажется настоящая память сна. Подводя итог: весь прогресс, которого достиг я указанным методом, состоял, собственно, лишь в том, что сны, сконцентрированные этой памятью сознания бдящего, сопротивлялись времени лучше, чем прежде. Общим же с первичными скоплениями фрагментов у них было то, что они также достигли логического сгущения, психологической «возможности», *формы действия, поддающегося повествованию*. Как только я констатировал этот факт, сомнений не осталось: весь метод д’Эрве ведет лишь к закреплению преимущества памяти вторичной (бодрствования) над памятью первичной (сна), а сохраняемый сон в лучшем случае расплещется. С трудом сдерживаюсь, чтобы не сказать, что бежал я от этого прекрасного произведения как от чего-то поистине сатанинского. С ностальгией вспоминал я время, когда, не прошедший мошеннических тренировок, смел полагаться на свою память, будто на надежное сито, которое, хотя и удержит лишь то, что сумеет, то есть немногое, но и наверняка не удержит плевел. Ведь прежде, сохранив одно зерно, мы получали право на определенные выводы, которых, если быть честными, преднамеренно натренированная память не допускает. К счастью, нет ничего проще, чем отказаться от этого недобросовестного метода: достаточно прекратить делать заметки «по свежим следам». Так и произошло; и все прочее опирается лишь на такую память – невоспитанную...

Итак, эта невоспитанная память сохранила для меня, собственно, лишь

беспольный: если после каждого пробуждения записывать сон, только что нас посетивший, мы вскоре заметим, что память на сны удивительным образом укрепляется. И не только: сны, контролируемые таким образом, постепенно якобы становились более точными, упорядоченными и логичными (прим.автора).

один сон. Зато сохранила так, что и не сотрешь. Это сон, посетивший меня лет в десять, и вот каков он:

Хрупкий подросток едет в карете. Это добротное закрытое ландо, с мягкой обивкой внутри, с глубоким задним сиденьем и без сиденья переднего. На этом единственном сиденье устроились две молоденькие подружки невесты: с миртовыми веночками: эти подружки внешне не похожи, но все же друг от друга неотличимы. Их белые кисейные платья бросаются в глаза – и прежде всего потому, что они «плоеные» и от этого каким-то непостижимым образом перекликаются с прическами этих девушек, с их тугими и *тоже* плоеными локонами. Обе они сидят, скрестив ноги, и так близко друг к другу, что это обстоятельство рождает *странные, кудрявые и незнакомые* мысли в голове мальчика, который играет роль свадебного пажы, хотя на нем всего лишь обыденный черный суконный наряд (короткие брюки и однобортный, застегивающийся – и застегнутый – на многочисленные круглые пуговицы сюртук с широким отложным воротником и плоеными невообразимо нежными манжетами). Та из девушек, на чьих коленях покоится голова дружки, говорит безмятежно: «Карета едет без лошадей». Та из девушек, на чьих коленях ноги дружки, говорит столь же безмятежно: «Карету везут лошади без голов». Подросток – а это я – смотрит сквозь переднее окошко, и ему не надо для этого ни наклоняться, ни поворачиваться. И он видит, что карету везут два вороных, запряженные задом наперед. Они бегут, пятясь, заглядывают внутрь экипажа, и один из них смеется, а другой плачет. У каждой из подружек невесты на коленях по темно-синему игольнику, но оба они как-то сливаются в один, причем сливаются непрерывно и булькая. Я лежу на спине, но не прямо на коленях девушек, а на этом игольнике, и девушки, пристально глядя сквозь переднее окно и совершая движения якобы невинные, но при этом словно бы назло мне, втыкают в игольник булавки: сквозь меня. Это совсем не больно, и смеющийся и плачущий вороные кони говорят за меня: «Мне все равно».

Музей снов. Бедный музей снов. За 44 года один-единственный экспонат. Хранитель не перетруится.²³

“Хранитель, – заявляет сладким голосом известный чехословацкий критик, – это прежде всего человек с очень бедным воображением, чья интеллектуальная жизнь, видимо, столь же резва, как садовая улитка в агонии, и который вот уже девяносто страниц подряд предпринимает бесплодную попытку передать читателю вещь непередаваемую, то есть вещь, лишенную всякого интереса, утомляя нас, утомляя нас...”»

²³ Говоря о единственном сохранившемся сне, я несколько преувеличиваю. Есть еще *tembra disjecta* (разбросанные члены) второго. Он приснился мне много позже, и единственно преданность исторической правде принуждает меня представить здесь список обломков этого развезанного сна. Отмечу лишь, что разрозненные звенья эти, хотя они и упорно не желают складываться в единую цепь, по отдельности так же яркие и отчетливы, как монументальный сон, только что описанный, и плывут они, словно снулые рыбы, в такой же, как он, молочно-белой, но при этом прозрачной атмосфере. Да будут здесь перечислены имена тех элементов, из которых каждый может выстроить то, что пожелает, но я ни за что больше ответственности не несу: Начало учебного года; коридор реального училища; на стенах картины – наглядные пособия по зоологии и биологии, очень резкие, но неопределяемые изображения; я, наш домашний врач доктор Кон (к тому времени уже покойный); одновременно в роли профессора реального училища и врача; он целится указательным пальцем в мою грудь; (на нем серые нитяные перчатки, которых он никогда не снимал) и произносит: «Учитесь; папа (то есть мой отец) этого не переживет; я (ударение на я) буду снисходителен» (прим.автора).

Благодарю известного чехословацкого критика. И все же, пусть читатели и утомились – что у меня сомнений не вызывает, – здесь, на 90-й странице рукописи, эти строчки читают лишь те, кто до этой 90-й страницы добрался. (Утверждение, не требующее доказательств.) Тот факт, что они дошли до этого места, в определенной мере свидетельствует в мою пользу – что, напротив, является утверждением, требующим доказательств, утверждением, которому и так, без доказательств, любой может отказать в каком бы то ни было правдоподобии.

Ах, критик, критик!.. Если кто-нибудь, десятки лет позволявший опутывать себя паутиной, решился наконец совершить движение, которое ее прорвет, если он обнаружил, что может легко и просто освободиться, то за каким чертом станет он считаться с тем, забавляет это кого-нибудь или утомляет? Вот почему вмешательство известного чехословацкого критика оказалось столь же действительно, как рев мухи, ибо и мух, конечно, иной раз охватывает стремление взречь, поддавшись которому, они бывают уверены, что взрели ужасно, ибо взрели по убеждению. Однако же у меня есть причина чувствовать себя в долгу перед критиком, он указал мне путь, путь...

Да, именно потому, что хранитель моего музея снов, я сам, добыл так мало, именно потому, что «воображение его бедно, а интеллектуальная жизнь, видимо, столь же резва, как садовая улитка в агонии», именно потому можно отважиться на предположение, что сохранный сон – это *перст*. (Пока я не говорю, что перст божий.) Ибо если «я» принимает решение о сохранении снов, здешних и здесь, то нет причины запоминать скорее этот сон, а не другой, забыв обо всех остальных, удерживать один-единственный. Это очевидно. Я рискую малым или же вообще ничем, высказав с бесспорной уверенностью утверждение, что мои способности и недостатки, мои склонности и предпочтения, мое я, контролируемое и прослеживаемое, не имеют с этим сохранением ничего общего. Если бы речь шла еще о сохранении *в памяти*! Но какую роль отвести памяти, пусть памяти на сны, то есть способности воскрешать некую прошлую, материальную или нематериальную реальность на основании аналогий и ассоциаций, происхождение которых можно проследить иногда с большим трудом, но идентификации которых путем рационального анализа тем не менее удастся достичь всегда, – какую роль, говорю я, отвести памяти в психическом феномене, который не является эвокацией, но во многом скорее близок нашептыванию, заклинаниям, то есть не вызван и обусловлен аналогиями (пусть самыми отдаленными, самыми скрытыми), но, напротив, аналогии вызывает и обуславливает, который подобен отзвуку выстрела, услышанного нами ранее, чем мы заметили перед дулом вспышку; короче говоря, феномен этот – начитанный читатель поймет меня, а для кого же мне еще и писать, как не для читателя начитанного?! – подобен негативу прустова намоченного в чае кекса или его знаменитой фразы из сонаты Вантейя. Возможно, однако, что вы до сих пор не поняли. Чему тут изумляться! То есть я требую от вас примерно такого же усилия, какое понадобилось бы вам, чтобы продолжить мое «нежная паутина, зацепившаяся о покрытый мхом булыжник...» словами: «...раздробила булыжник этот в пыль», будь даже правдой то, что она раздробила его в пыль...

Тогда попробую упростить. Сон о безболезненно прокальваемом мальчике, или, вернее, воспоминание об этом сне, ассоциативно не подстраивается к какой-то определенной категории впечатлений бодрствования, но напротив: это воспоминание означает, что, возможно (но вовсе не обязательно), определенные

категории впечатлений находятся на пороге: неожиданное письмо; восстановление справедливости в отношении меня; книга, на страницах которой я удивительным образом нахожу отклик на свои самые потаенные мысли; любовное приключение. Короче: нечто духовно обновляющее, за чем, однако, следует мощная депрессивная реакция, причиной которой, думаю я, является вовсе не качество, но ограниченность во времени этого обновляющего импульса.

Однако в целом от этого здесь мало что зависит. Напротив, обращаю внимание на порядок, который в сравнении с обычным опытом можно назвать извращенным; на тот немаловажный факт, что сон *анекдотический*, если можно так сказать, моя память сохранила лишь один; но зато зафиксировала его не только неизменным, но и *реальным*, как если бы он находился в твердом состоянии; что я словно одержим предчувствием, будто именно ему суждено стать последним, что я восприму в моей земной жизни; что ему предназначено быть моим пропуском в иное; моим удостоверением личности; пока еще неопределимым, но существенным дополнением к тому человеку, которым я стану, когда очишусь.

Причиной этой неопределимости – в чем я не сомневаюсь – является то обстоятельство, что речь идет именно о сне, то есть о действительности хотя и реальной, но такой, куда мы ступили, вооруженные чувством, которого мы лишены в тех фазах существования (существования рудиментарного), когда мы способны к координирующим операциям, результатом коих становится лишенная бога уверенность, будто мы постигли если не смысл своей жизни, то хотя бы общее направление своих действий и восприятий... То есть о факте хоть и навязчивом, но неуловимом, который, кажется, соскользнул с орбиты рационалистических детерминант нашего я, так что мы произвольно отодвигаем его в ряд минутных помешательств, которые дисциплинированному мозгу позволено не замечать.

Сон есть атмосфера; но атмосфера словно бы над континентом необитаемым; я бы даже сказал – над континентом никаким. Однако этот ленивый и трусливый тезис удивительным образом шатается, если мы поверяем его психическим механизмом воспоминаний; воспоминаний бодрствующих. Читатель, возможно, еще помнит – предмет настоящего памфлета уводит меня так часто и так далеко от исходных пунктов (исходных пунктов! как будто мы *куда-нибудь* движемся!), что неудивительно было бы, если бы он об этом забыл, – читатель, возможно, еще помнит, что мы говорили об аналогии между снами и определенными воспоминаниями.

В общем так: я и пальцем не шевелю, чтобы вырвать у господ механицистов даже этот незаметный анклав их карликовой державы под названием память. Они разделили человека на отделы; с одними они не знают, что делать; зато на других, к которым они якобы нашли ключ, они отыгрываются, как расшалившиеся мальчишки. К этим механистическим *champs clos*²⁴ относится память, а следовательно – естественным образом – также и ее изделия, воспоминания. «А ехал поездом из X в Y. Подъезжая к Y, он взглянул в окно и заметил пасущуюся белую корову. Через год А прогуливался в окрестностях Z. Неподалеку от Z он заметил пасущуюся белую корову. Он мгновенно вспомнил путешествие их X в Y, свое пребывание в X.» Это одна из простейших схем механизма памяти и возникновения воспоминаний. Достаточно овладеть соответ-

²⁴ Огороженные поля (фр.).

вующим словарем: мозг, мозжечок, серое вещество, межклеточная коммуникация, аналогия изображения на сетчатке, повторение реакции, оптическое эхо и т.п.; достаточно притвориться, будто законы аналогии, законы периодичности – это нечто осязаемо понятное и ясное (на самом деле они, конечно, пугающие ничуть не запутаннее, но и ничуть не яснее, чем, например, проблема гравитации или теплопроводности; но разве это прибавляет или убавляет вопросительные знаки?), и возникновение определенного воспоминания рассчитываешь по заранее предложенным данным при помощи тройного правила или системы неопределенных уравнений, которые называют неопределенными только для того, чтобы произвести впечатление.

Отдаю вам на милость толкование воспоминаний; отдаю его в ваши руки, как плащ, без которого я обойдусь, а вам было бы очень холодно! Может быть, такой ценой я хотя бы спасу жизнь. Я сумею, если захочу, вспомнить тысячи, сотни тысяч вещей – без помощи белых коров, то есть более загадочным образом... – но весь этот хлам бодрствующих воспоминаний я дам вам в придачу, если вы вставите в свою схему воспоминания бодрствующие таким же образом, как и все прочие; например, такое вот воспоминание. – Я студент пражского технического училища. Живу в доме, соединяющем Мелантрихову улицу с Кожным переулком. Прекрасное майское утро, ближе к полудню. Я иду по Мустеку. Подходя к нашему дому, замечаю трех девочек. Они шагают передо мною. Три девочки с косичками, одна подле другой, настоящая лесенка; они шагают, держась за руки, и даже сзади заметно, с каким интересом они друг с другом разговаривают. Посередине самая высокая, слева – средняя, а справа – малышка-недомерок. Внезапно мне приходит в голову, что этой малышке хочется отпустить руку самой высокой девочки. Но в этом желании заключено еще одно, и очень важное желание: выпустить эту руку так, чтобы та, кому она принадлежит, то есть самая высокая из девочек, не обиделась. Дальнейшее происходит очень быстро, но при этом так, что я замечаю все подробности, словно кто-то комментирует события: малышка отпустила руку. И пока две другие девочки, увлеченные беседой, продолжают *как ни в чем не бывало* (собственно, ни в чем и не бывало) шагать дальше, третья огибает их сзади, описывая дугу, возникающую в результате двух механических движений: перехода с правого крыла на левое и непрерывной ходьбы двух других; *прелестная* закругленность этой дуги выражается, однако (непроизвольно?), следующим трудно разрешимым, почти ангельским, уравнением; стремление к переходу справа налево – эта реализация желания быть возле любимой девочки, находящейся посередине, – равняется стремлению не обидеть самую высокую девочку, которую малышка любит так, что готова отказаться от осуществления своего первого стремления, если только почувствует, что может этим ранить высокую. Далее прелестная дуга замыкается. Малышка ухватила за руку девочки слева, и все три – как ни в чем не бывало – шагают дальше. Думайте что угодно об описании этой сцены; единственное, с чем я не буду спорить, так это с тем, что я не способен выразить словами ее *святость*, которая сразу бросилась мне в глаза, заставив вспомнить о благовещении. Надеюсь, мне поверят на слово, если я добавлю, что уже тогда, когда описанная сценка разыгрывалась передо мной, я был уверен, что она, невзирая на свою простоту, если не сказать – банальность, приобретет для меня значение мифа, станет воспоминанием о чем-то, чего мне более всего не хватает на этом свете, воспоминанием блуждающим и вечно ускользающим, которое внезапно и чудесно сложилось – своими формой, линиями и движениями – в

сеть, ячейки коей приспособлены к тому (и ни к чему иному!), чтобы выловить роковое, утерянное в результате бог знает какого греха дополнение, без которого тщетна любая жажда слияния, то есть самоуничтожения, то есть спасения. И выловить откуда? Из беспредельных просторов! Задумайтесь над столкновением двух случайностей: среди огромного-преогромного города я замечаю сценку столь ничтожную, причем замечаю ее как раз в ту долю секунды, когда она лишь и может быть действенной, то есть именно тогда, когда пересекаются пути двух антагонистических и ностальгических половинок; и попытайтесь и далее отрицать первородство чудесного.

Воспоминание это всплывает так часто и так автоматически, что мне не остается ничего иного, кроме как считать его ценностью, присутствующей вечно, но латентно. Итак, вид дома, где я недолгое время жил и где взяло начало некое событие, позже сыгравшее в моей жизни довольно заметную роль. Отдельные фазы этого действия память моя также сохранила – и с точностью. Сохранила она их способом, полностью удовлетворяющим господ механицистов: я вспоминаю о них, если мне захочется или к случаю. Я суверен этих воспоминаний; но сцена с девочками и сама по себе суверенна. Она всплывает, когда ей вздумается; всплывает, вызывая представление об этом длинном доме; но только почему так редко я перескакиваю с мысли о доме к событию, связанному с ним настолько тесно? Почему сценка с тремя девочками словно не решается слиться с этим небольшим романом, с которым соотносится лишь по месту действия? Почему сценка с тремя девочками словно заводит нас в тупик?

Отважусь написать, что это из-за ее сущности, отличной от сущности воспоминаний «механистических». Именно потому, что это воспоминание о событии столь мирском и столь тонком, я не могу отказаться от убеждения, что настойчивость, с которой оно меня не отпускает, *это тоже перст*; и перст, указующий на факт тем более значительный, что связан он с той фазой существования, когда наши контролирующие и координирующие органы чувств работали несомненно в полную силу. Сон, реабилитированный бодрствованием: сон, реальность которого бодрствованием подтверждается; четвертое измерение жизни, перенесенное в трехмерную проекционную «реальность» и этой проекцией переданное. Сонная сущность воспоминания о сценке с тремя девочками не коренится в анекдотической мелкости и незначительности этой сценки; коренится же она в непропорциональности этой мелкости и незначительности той неутраченной силе, с которой манит меня оно, чтобы вновь и вновь всматривался я в слепое зеркало, которое мне бы ответило, сумей прозреть мое я.

Пожалуй, для многих будет полезно, если я обращу их внимание на подробность, которую, возможно, они до сих пор не заметили: есть некая аналогия между единственным сохранившимся моим сном и этим непобедимым бодрствующим воспоминанием, что порождает блаженство²⁵. Я предлагаю это обстоя-

²⁵ Кто-то, кому я когда-то рассказал о сценке с тремя девочками, ошеломил меня вопросом: «Вы, наверное, никогда не были в борделе?!» (Я бывал в борделе довольно часто и не только в качестве наблюдателя.) Вопрос этот интересен тем, что задал его человек, одержимый в то время Фрейдом. И в этом сказалось пагубное влияние фрейдизма: он вызвал деградацию подсознания до уровня грубого и нелепого предателя сексуальности; уничтожил понятие подсознания как бодрствующего запаса духовных возможностей; понятие подсознания как мира, откуда к нам на мгновение вырывается испепеляющее нас пламя; понятие подсознания как потаенного спасения. Если вопрос «вы никогда, наверное, не были в борделе» вкратце выражает содержание «неомистицизма», мистицизма вне Бога, то несложно предположить, что он заводит в тупик. Для полноты добавлю, что как наряду со сном «о подружках» я сохранил в памяти хотя и фрагментарно,

тельство их аналитическому уму. Откровенно говоря, я не нахожу в этом обстоятельстве ничего особо увлекательного. Ни от чего я так не далек, как от попыток выдать психоанализ за врата к основополагающему «почему». Сны и воспоминания интересуют меня единственно как элементы или же как отправная точка поэтики. Я ищу – и сегодня вовсе не впервые – возможности их использовать в качестве виртуального и наиболее основательного фундамента для «нравственной» словесности, единственной словесности не «напрасной», и – о, вот парадокс, не правда ли? – нисколько не напрасной потому, что она базируется именно на том, что мы считаем самым ненужным: на снах и навязчивых, прилипчивых, сонных, эвокативных воспоминаниях.

Я писал об этом выше, не скрывая своих сомнений в достижимости цели: недостаточность и фальшь памяти на сны, «усиленной» методом, скажем, д'Эрве. Существует и другая трудность: трудность композиции и словаря. Трудности словаря не самые большие: мне кажется, что при наличии подготовленного и снисходительного читателя я имею право на определенную денатурализацию словаря: в сущности, речь идет о замещении тех представлений, которые традиционно вызывают некоторые слова, представлениями иными, часто, не отрицаю, довольно отдаленными; то есть об ускорении процесса, для повседневной жизни совершенно обыденного. При наличии подготовленного и снисходительного читателя, как я уже говорил, было бы относительно просто договориться о том, что, например, слово «масло» будет означать «камень», а если я пишу «шел», то вообще-то имею в виду «стоял», и что «нос корабля» означает не самую узкую его часть, а, напротив, самую широкую, словосочетание же «служанка пошла на рынок» по желанию автора может вызвать в сознании образ «матери, благословляющей детей», и т.д. Предвосхищаю возражение, которое напрашивается, и напрашивается изо всех сил: зачем нам эти выверты, почему не выбирать слова, которые для большинства читателей ассоциируются как раз с теми представлениями, о которых говорит писатель. «Вы непременно хотите выделяться! Вы хотите быть герметическим!» Да ни в коей мере. Я просто говорю, что в общей суете, глядя на которую, я мечтаю непостижимым образом сорвать со всех маски – о, этот бал-маскарад, где танцующие опознаются тем легче, чем более «неузнаваема» их маска! – слова не просто посредники и помощники в зарождении ассоциаций, замыкающих круг, то есть ассоциаций, которые держат нас взаперти (а взаперти держит едва ли не каждая из ассоциаций), а тех, что по-настоящему живут, обладая неповторимыми цветом, формой, красотой или мерзостью, этикой; то есть, короче говоря, эти ассоциации подобны раскрывающимся куколкам, из которых высвобождается новый и полноценный мир. Слишком тяжелым выкупом был бы отказ ради «понятности» от возможности столь восхитительных открытий. Что, это открытия эгоистические? Тоже мне открытие! Разумеется, это открытия эгоистические, но если среди сотен и сотен ты наткнешься на одно, которое откроет тебе то, что открыло мне, ты вознагражден тысячекратно. Во-вторых: кто бы отрицал, что эти слова для замены, эти слова изменчивого, если мне позволено будет так выразиться, состояния, эти слова-калейдоскопы или артикулирующие паяцы, или -иначе –

но точно всего один или два других сна, так и наряду с воспоминаниями о сценке с тремя девочками, у меня есть то ли одно, то ли два воспоминания, таких же настойчивых и эвокативных, хотя и не в той мере, как воспоминание описанное. Я уверен, что этот параллелизм интересен не только мне (прим.автора).

слова о совершенно невероятных и непостоянных системах и положениях, слова, наделенные некоей вездесущностью представлений, являются именно той единственно возможной основой для снов, до которой мы, убогие, можем еще кое-как аналитически докопаться.

Хуже обстоит дело с трудностями синтаксическими и трудностями, вытекающими из кажущейся анархии, которую сон сопрягает с глаголом, а также из анархии, вторгающейся в правила о месте и функциях частей предложения. Как выразить директивно, без объяснений и комментариев, что пирамида, стоящая на острие, именно потому стоит так прочно, что не опирается на основание?; как поступить, чтобы читатель также проникся той легкостью, с какой продел я в иглу корабельный канат, и теми трудностями, с какими продевал я обычную нитку?; как описать *просто* те дворцовые залы, где устраивают балы огромные чудовища, но куда не поместится детская кукла?; как потребовать от вас искреннего убеждения в том, что X, увиденный мною на горизонте, казался намного больше, чем Y, который находился совсем рядом со мной?; что поколение 1928 года завещало весь свой жизненный опыт поколению 1830?; что V, ведущий за руку Z, уже давно прошел городские ворота, а Z все еще очень и очень далеко? И т.д., и т.д.

Итак, несмотря на все эти и подобные им трудности, несмотря на ненадежность памяти на сны, я хочу попытаться. Хочу попытаться ради славы первооткрывателя. Открытие так велико, что возможная неудача меня не пугает. Говоря литературно: я хочу писать рамы. Пусть читатель заполнит их сам. Моя задача – принудить его этими рамами к тому (под рамой я не имею в виду отдельные «рассказы» настоящего тома, но абзацы, предложения и, если посчастливится, слова), чтобы он самостоятельно вкладывал в них, чтобы *должен был вложить* лишь то, в чем он познает себя, то, по чему он непоправимо тоскует. Для меня важна литература нравственная, почти дидактическая. Инструкция, но инструкция внушения, но внушения вовсе не методического, а достигающего наивысшей точки в присущей мне бесприютности и моем волевом стремлении дать бесприютности этой выход, инструкция, как выпрямить замкнутый круг, которым мы являемся, так, чтобы он стал направляющей откуда-то куда-то. Откуда? От атавистического уже не только предчувствия, но уверенности, что призвание человека – пребывать в Боге, не потому, наверное, что мы «лучшие», но потому, что самые цельные. – Куда? – В край, где не изумляются, то есть туда, где он, читатель, является богом сам. Операция эта прерывиста. Начинать ее надо вновь и вновь. Удастся это каждый раз всего только на мгновение. Будьте же скромны. Ясно лишь, что стихотворение, этого не достигшее, – стихотворение провалившееся.

Человек могуч; он всемогущ; но армии его рассеяны. Но не потому, что они против него взбунтовались. Человек сам себе солнце, но он заслоняет себя настолько, что узнает лишь по тени, которую отбрасывает. Вы хотели знать слишком много. Вы уничтожили, то есть развеяли в прах и то, в чем были уверены. Чем больше вещей вы понимаете, тем больше толпы вещей, вызывающих ваше изумление. Человек перестает изумляться, превратившись из круга в прямую направляющую. Я думаю о тех, кто, будучи брошен, летит подобно копью, в острие которого застряли свойства вещи. К этой обожествляющей деградации до орудия, работающего *свободно*, мы приходим только тогда, когда уничтожено все то, чем мы в качестве *чьего-то* орудия гордились. Мы всемогущи, когда видим сны, и наши органы чувств, наше мудрствующее я, создали нам мир

столь извращенный и лживый, что мы даже не догадываемся, что касались сюрреальных явлений именно тогда, когда нам казалось, что между нашими пальцами скользят лишь переплетенные волокна безумия. И все же: ключи к тому, кто мы, к тому, о чем мы обреченно тоскуем – наверное, нет необходимости говорить, что мы и предмет нашей тоски – это два имени одной и той же вещи; есть сон; сон во сне и наяву. Потому также было и будет целью моего *труда* писать то, что следует *sub specie*²⁶ снов. Создать словесный эквивалент той реальности, которая хотя и не осознана, но все же является *реальностью*. Как? Моя тайна! Я не могу открыть ее, ибо это тайна поэта. Не она принадлежит мне, но я – ей. Все зависит от того, сумеем ли мы так *солгать* о нашей зеркальной тюрьме, которую прекрасно знаем изнутри, чтобы читатель узнал ее снаружи, узнал такой, какой нам ее никогда видеть не доводилось. А раз уж я говорю о зеркале... Если я всматриваюсь в него пристально и долго, то обязательно наступает – о, сколько раз я испытал это! – одно нескончаемое в своей краткости и освобождающее в своем ужасе мгновение, когда образ мой утрачен и оловянная плоскость, его поглотившая, зияет удивительной пустотой, в которую без следа всасывается все то, в чем я являюсь самим собой, пока не остается лишь совершенно неопровержимая уверенность, что я – не более чем свой самый верный знак. Мы называем это вознесением. Почему на непрозрачной и неотражающей плоскости белой бумаги – вспомните письмо, безумный тайфун, тонущий корабль и последнего уцелевшего человека, в которых мы всматривались вначале; и измерьте тщетность человеческой воли, и оцените источник той милости, благодаря которой тщетность эта становится – порой вопреки всему – всемогуществом едва ли не божественным, соотнесите ее с невольным и горестным признанием, что человек, стремившийся распрямить круг, в конце пути узнает, что ему, наверное, даже на мгновение не удалось вырваться с этой замкнутой орбиты; почему, говорю я, на непрозрачной и неотражающей плоскости белой бумаги, словно на зеркале, ослепшем от того, что оно выпило все, чем мы сами для себя являемся, не проступит то, что высматриваем мы, которые – всего лишь свой знак? Только давайте всматриваться пристально, долго, прогнав прочь сомнение, этого нежелательного чужака. Разве что черт помешает нам справиться с тем, с чем играючи справляется ребенок, водящий карандашом по мелованной бумаге; не то чудо, что «картинка получается», чудо, что именно у ребенка, у неизумляющегося, получается *всегда* то, что он хотел.

На белой бумаге я напечатаю белое. Напечатаю белое, пренебрегая собой, что сокрушает меня, как Медуза; я напечатаю белое ради этой могущественной потребности примирения, с помощью ножа, вошедшего так нежно, как пролившийся золотым дождем бог, ради этой жажды примирения – *за исключением* предыдущего, такого грубого прощения; напечатаю белое этими колышущимися, вечно изменяющимися и всегда императивными знаками уверенности, коими неохраемые мгновения моей жизни выжжены так, как выжжен ландшафт полосами вечернего и утреннего тумана, которые превращают его в рай в соответствии с нашей ставшей чистой картиной; напечатаю белое такими удивительно переплетающимися, такими путаными и то и дело, то и дело убегающими куда-то в сторону путями, дорожками и стежками, над которыми, как рои старательных пчел, снуют мои воспоминания о снах, теряясь то в странной и бессмысленной пустыне Гоби, то в пампасах, то в хохочущих эхом пропастях,

²⁶ Под углом зрения (лат.).

куда нельзя добраться и про которые невозможно не верить, что они ведут именно туда, куда необходимо идти; напечатаю белое посредством своего омерзения от стыда, который иногда, как коварный злодей, нападает на меня и грабит, от стыда, что, вынужденный выбирать между двух или более «зол» или «благ», я начал с того, что отшвырнул прочь здоровое человеческое суждение – точно паршивую шавку; напечатаю белое всем тем, что я, вопреки давлению так называемых немотивированных внушений, когда-то не упомянул; напечатаю белое своей утренней безнадежностью, которую неизбежно, как один ночной дозор – другой, сменяет мое более действенное доверие, бьющее крылами, подобно голубице, ржущее, подобно напоенному коню, ангел, трубящий в тромбон, дает знак к спасительному отступлению; напечатаю белое цветами, аромат которых поет, птицами, чья песнь затвердевает в испанские замки, пусть эфемерные, зато неприступные все то время, пока они существуют; исчезнувшими фаунами, которые я воскрешаю, и будущими, которые я пока храню в антикварных коллекциях; своим благородством, которому я угрожаю, и своим коварством, которое я запрятал подальше от любопытных взглядов, растворив его в искренних слезах; напечатаю белое своей шпионящей совестью и своей любовью, которые годятся разве что для навозной кучи. Напечатаю; вы, вы черкайте по моему волшебному оттиску. И что у вас получится?

Поднялся ветер, буря. Погода самая подходящая для того, чем мы с тобой занимаемся. А у тебя есть, чем прикрепить такой нужный белый волшебный лист, это слепое зеркало, которое нужно рассмотреть. – Нет? – А как же наши чертежные кнопки? П.С., Квайде, Бельтрам и т.д.? Как было бы удобно иметь под рукой сон со всеми удобствами и современным комфортом. Не стоит скромничать. Давайте не будем говорить, что удовлетворимся тем, что имеем; скажем правду: я честолюбивее обычных копиистов. Из двух ребер и трех позвонков вывели весь скелет мамонта или динозавра. Они ненастоящие, но они существуют. И, существуя, они – как всегда – лучше, чем «правда». – Покусимся на кое-что лучшее. Для нас чертежные кнопки не являются даже *элементами*; мы используем их единственно с тем, чтобы заморозить тщетность, которой поет судьба, от которой не уйти, и произвол, который нас к ней понуждает. Заморозить, чтобы она окаменела в пещерах, где воет вьюга, метущая из неизвестности в неизвестность. Но что из того, знаем ли мы хотя бы – куда?! В общем, никакие это не транскрипции снов, а как бы сны в квадрате. Эта смешная малость, которую сохранила наша память, в сущности служит нашему труду только для зачаровывания листа, в который мы вглядываемся до тех пор, пока он не ответит нам отражением нашей намеренной беспомощности.

Осталось добавить несколько слов *pro domo*²⁷. Осталось – например – разбить какую-нибудь посудину об голову тех, кто нападет на нас с сюрреализмом. Таким, пусть в остальном и веским, аргументам, я всегда принципиально противился. Если бы я сказал, что впадал в уныние уже тогда, когда сюрреализм ходил в коротких штанишках, это вовсе ничего бы не означало и одновременно многое бы доказывало²⁸. Но вот доказав, что я уже тогда предчувствовал и го-

²⁷ В защиту моего дома (лат.).

²⁸ Несколько этих заключительных автокритических, да, автокритических, слов было написано незадолго до опубликования статьи, которую ad vocem второго издания моих «Фурий» доктор Мирослав Рутте напечатал как в «Розправы Авентина», так и в «Народних листах» (январь, февраль 1929). Если бы я этого не сказал, могло бы возникнуть предположение, что я себя недооцениваю. А дурной репутации я боюсь (прим. автора).

ворил, что к Богу можно прийти единственно через последовательное отчаяние, то есть через отчаяние, которое не обманет никакое утешение и в конце которого тому, кто ожесточенно шел вперед, открывается пропасть света, куда достаточно броситься сломя голову, я бы отомстил всем, хотя на самом деле вовсе не был настолько дурным, чтобы об этом даже подумать. А я бы сумел это доказать. Но к чему торговаться, пусть даже и об этом? Существует столько, столько людей, своим отчаянием хвастающихся; пусть оно им служит. Для меня достаточно любить *все*, то есть любить с закрытыми глазами, перед которыми пляшут радуги в кругах, все более и более широких. Для меня достаточно руки, которую подает мне одно-единственное создание, наклонив голову, чтобы я не видел слез, пока с улыбкой, которая вот-вот явится и которой мне не узреть иначе, чем став безымянным всем, Бог месит манну, которой *мне* не вкусить.